

Б И Б Л И О Т Е К А

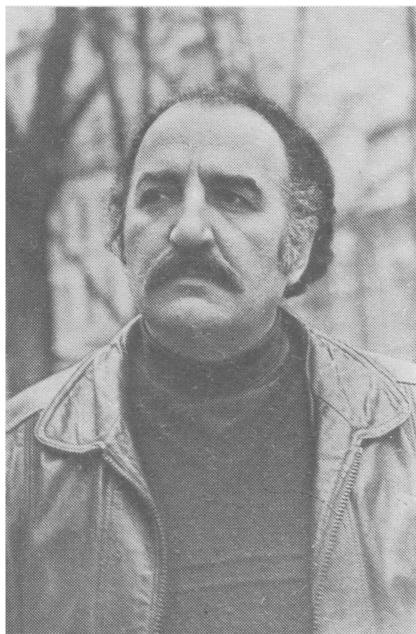
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 48

1987



Ушанги
РИЖИНАШВИЛИ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

НЕДОБИТОК

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 48

Ушанги РИЖИНАШВИЛИ

НЕДОБИТОК

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Ушанги РИЖИНАШВИЛИ

Ушанги Ильич Рижинашвили родился 22 июня 1940 года в Кутаиси. Учился в Харьковском государственном университете имени А. М. Горького и в аспирантуре Института философии Академии наук СССР в Москве. Кандидат философских наук, член Союза писателей СССР.

В 1964 году в Харькове издал первую книгу стихов «Три солнца». За ней последовали книги стихов и прозы «Зрение», «Возвращение», «Дом», «Обратная перспектива», «Любовь» и другие. Автор монографии «Эстетическая информация» (1975).

У. Рижинашвили активно занимается переводческой деятельностью. В его переводах на русский вышли романы, повести и рассказы известных современных грузинских писателей.

Произведения У. Рижинашвили переведены на многие иностранные языки, на языки народов СССР.

Лауреат премии ВЦСПС и Союза писателей СССР.

Живет в Тбилиси, работает главным редактором издательства «Мерани».

НЕДОБИТОК

Скажи мне, как человека хоронили, и я скажу тебе, какой то человек при жизни был. За других ручаться не стану, народ теперь разный пошел, не поймешь, что у кого на уме, а вот нас, мартвисцев, не проведешь, хоть убей не приневолишь зряшному человеку почести, при жизни не заработанные, после смерти воздать. Знает народ наш, кому как последний долг отдавать. Не красного словца заради говорится это — последний долг. Все мы в долгу, как в шелку; поначалу у отца с матерью жизнь в долг берем, у природы — землю, воду да воздух, у женщины — любовь и ласку, у детей — уважение, у людей — обычай и званье человека. Так оно от веку и ведется. Долг, известно, платежом красен. Да вот иной и думать про долг свой не думает, помнить его не помнит, так и живет, будто не он всем должен, а все ему чего-то должны. Другой вроде и рад бы на словах все отдать, а сам, глядишь, палец о палец не ударит, чтобы хотя бы один должок погасить. Такие и после смерти последний долг заполучить да зажать норовят, хотя и без того и человеку и природе кругом задолжали...

Так вот, я тут про похороны говорил. Сказывают, смерть все прощает, все списывает, оно, может, и так, да не совсем. Жизнь ничем, даже смертью не спишешь. Как на земле жил, так и в землю уйдешь. Коли при жизни тебя скоронили, после смерти никто хоронить не станет.

Не знаю, слышал ли ты про Бедиа-недобитка, он там у леса жил, на краю деревни, дом у него в лощине стоял, в половодье позапрошлогоднее вода его унесла, смыла, словно щепку какую, языком слизнула, следа не отыщешь, то ли был, то ли нет. Шесть десятков лет Бедиа в доме том прожил людьми проклятый и богом забытый. Никто ему слова за все эти годы не сказал, руки не подал. Сверстники его все, почитай, давным-давно поумирали, да что сверстники, многие из их детей, не составившись, уже из мира ушли, внуки внучат нянчат, а Бедиа-недобиток как был на отшибе, так и до самой смерти и остался. Как он жил, чем перебивался, с кем словом перебрасывался — никому про то неведомо. Высокой оградой отгородился он от людей, и никто не полюбопытствовал за ограду ту хотя бы глазком одним заглянуть. Народ у нас вспыльчивый, да отходчивый, вспыхнет, словно хворост, и мигом погаснет, не

чадя и не пряча пламени в золе, а тут не отошел, не погас. Отрезал Бедю-недобитка от себя и от деревни, отсек, как сухую ветку, из деревни, правда, не погнал, живи, мол, коли можешь. И Бедю жил, как будто и не жил. Селяне, в лес собираясь, дорогу себе чуть ли не вдвое удлиняли, за версту обходили жильё недобитка. В лощине земля богатая, все, что ни посеешь, вырастет, а молодые, от родительского дома отделяясь, в предгорье селились, каменистую почву руками расчищали, черную землю издалека возили, но к лощине даже на ружейный выстрел не подходили. Так вот. Пять лет уже минуло, как Бедю земля приняла, два года, как полая вода дом его смыла неведомо куда, а народ наш по недоброй памяти места те обходит, все так же, в лес идучи, путь себе удлиняет.

Как же довелись мы, что Бедю преставился? Кабы не случай, как знать, может, годы бы прошли, прежде чем весть та до нас дошла. И немудрено: голосу из лощины до нас не долететь, кричи не кричи — все едино не докричишься, ветры у нас из ущелья дуют, все запахи да звуки от деревни относят, да и шакалов в наших краях отчего-то не водится. Вот и посуди сам, каково нам было про то дознаться...

А дело было так. Пастух Лелуа через лощину баранту гнал на ту сторону ущелья, там путь короче. Парило в тот день с утра самого раннего. Вот и решил Лелуа дорогу срезать, чтобы овцы от жары не млели, чего он раньше никогда не делал — избегал, как все другие, мимо бедиевой ограды ходить. Пес Мгелиа за ним чего-то увязался — не брал его Лелуа с собой в последнее время — толку от него чуть, подслеповат, нюх притупился и лапы едва переставляет. Только ограда бедиевская завиднелась, Мгелиа на зад присел, морду задрал и как завоет, мурашки у Лелуа, сказывал, по спине так и забегали. Цыкнул он на пса, отогнать его попытался, но Мгелиа ни с места, воет и воет. Овцы со страху в кучу сбились, жмутся друг к дружке, головами трясут. Лелуа и так их шуганул и эдак — хоть бы что, стоят и дрожат дрожмя. Лелуа с ног сбился — ничего понять не может. Вдруг слышит, волю где-то замычали, да так, что оторопь Лелуа взяла. Прислушался. Мычанье из-за бедиевой ограды идет. Откуда там волам взяться — один бог знает, не должно бы вроде никакой животины у Бедии быть. А волю все мычат и мычат, Мгелиа все воет и воет, овец трясушка бьет — аж шерсть трещит. Осенила тут Лелуа догадка — с Бедией, видать, беда приключилась. Кинулся было Лелуа к ограде бежать, да ноги не несут, словно к земле прикипели, и впрямь, видать, привычка крепче веры. Никогда ему не доводилось прежде Бедю видеть, да что видеть, даже имени его он ни от кого толком не слыхивал — все недобиток да недобиток, а коли кто запрет нарушит и имя отщепенца ненароком произнесет — не миновать тому стакана керосина натошак. Было от чего Лелуа растеряться. А волю мычат, Мгелиа воет, овцы блеют — голова кругом.

Плюнул Лелуа через плечо левое и побежал к ограде. Бежит, а ноги назад вернуть его норовят. Мгелиа рядышком трусит и выть, гля-

ди-ка, перестал. Подбежал Лелуа к воротам в ограде и туда толкнулся, и сюда — заперто, а до верха ограды не дотянешься — высоко. Отошел подальше, разбежался, плечом на калитку налетел — подалась калитка, распахнулась, и Лелуа во двор упал — на ногах не удержался. Встал, огляделся и едва снова на землю не рухнул: в трех шагах от себя увидел он скрючившегося на коленях старика в изжелта-белом саване с искаженным в неслышном крике, задранном к небу лицом. Одной рукой старик в землю упирался, другая же с растопыренными пальцами, словно невидимых птиц от лица отгоняла.

Рядом со стариком яма неглубокая вырыта была, и заступ тут же ваялся с черенком треснувшим. Смерть, видать, неминуемую почуяв, сам себе могилу он вырыть надумал, чтоб смерть обогнать да живым в могилу ту лечь, но не успел, смерть, почитай, проворней оказалась. Так и остался он на краю могилы той недорытой в саване, загодя припасенном. Знал ведь, не иначе: никто ему домовины не сколотит, могилы не выроет да ком земли сухой на крышку гроба не бросит...

Зажмурился Лелуа, повернулся к старику спиной и, не размыкая век, сделал несколько нетвердых шагов наобум. Вдруг выдвинутая вперед рука его со сложным кнутом на что-то мягкое и живое наткнулась. Глухое воющее мычание по ушам Лелуа полоснуло. Глаза сами по себе от страха распахнулись и увидели двух огромных волов, стоявших хвостами друг к другу. Тот, на которого рука Лелуа с плетью наткнулась, мычал, морду задрал, а влажные глаза его то открывались, то вновь закрывались веками дергающимися. И снова завыл, закручинился Мгелиа. Опомнился Лелуа, перебросил плетень из правой руки в левую, а правой принялся гладить мокрую морду вола. Мычание прекратилось, а следом и Мгелиа замолк. Лелуа раздумывал, что делать, как поступить дальше, а рука все гладила мокрые губы и дышавшие ноздри затихшего от нечаянной ласки вола. Вдруг Лелуа руку отдернул, повернулся волчком и опрометью вон со двора выбежал. Мгелиа, задыхаясь и ушами прядая, за хозяином затрусил. Овцы, сбившись в подрагивающий клубок мохнатый, все так же дрожмя в ложине дрожали. Запнулся, замешкался Лелуа, на бегу обернулся и крикнул Мгелии: «Стоять тут!» Мгелиа покорно возле баранты на свой тощий зад присел и, уставив на овец глаза подслеповатые, на месте замер. А Лелуа, дороги не разбирая, во весь дух в деревню мчался. Зацепился за куст, на колени упал. Чертыхнулся и снова, судорожно горячий воздух глотая и на ноги обе прихрамывая, дальше побежал. Но тут кнут размотался, под ногу ковыляющую попал. Запутался Лелуа в коже сыромютной, споткнулся, едва на ногах удержался. Отшвырнул в сердцах кнутовище, дальше побег сторяча, потом остановился, за кнутом вернулся, сложил его вдвое и снова припустил. Добежал ни жив ни мертв до площади деревенской, на лавочку под ореховым деревом без силы шмякнулся, рот разевает, а слова не идут.

Встревожился тут народ, окружил Лелуа, ждет, когда отдышится. «Сдох!» — только и прохрипел Лелуа да в кашле зашелся.

«Кто сдох? Мгелиа, что ли? Говори, не томи душу!» — смешались люди.

«Бе... недобиток сдох!» — вытолкнул из себя Лелуа и снова закашлялся.

«Недобиток сдох, недобиток, туда ему и дорога!» — загомонили мартвисцы.

«Негоже так говорить! — отошел, наконец, Лелуа. — Адамов сын как никак... Кабы видели вы... Сам себя при жизни схоронить не сумел... Схоронить бы его надо!»

«Не сумел, говоришь, еще как сумел, шесть десятков лет, как сумел. И мы его тогда же схоронили и отпели, хватит с него... А, коли жалешь, сам хорони, мы тебе в деле таком не помощники».

«Опомнитесь, люди, умер он, умер, нет его больше, какие счета с мертвецом, бог ему теперь судья!»

«Прав Лелуа, схоронить его надо, не то смрад от него всю округу отравит...»

«Велика ему честь в земле нашей лежать, не дождется он этого!..»

«Схороним его на отшибе, там, где убийц хоронили да разбойников!»

«Не убийца он и не разбойник. Убийца у человека жизнь отнимает, разбойник — добро, а он у целой деревни надежду отнял, не место ему там!»

«Но надо же схоронить его где-то?»

«Сначала решим, кто хоронить его будет... Ты, Закро? Ты, Лексо? Ты, Сосо? Так кто же, черт возьми!..»

«Я его схороню вместе с могильщиком Тедо на пару, я!»

«Что ж, Лелуа, коли таково твое решение, так тому и быть!»

«Где же схоронить его?»

«У старой каменоломни, где холм насыпной...»

«Верно придумано, земля там не мартвисская...»

«Только гроб сколотить пособите, не хоронить же его без гроба, а с остальным я сам управлюсь...»

Митуа-столяр гроб сколотить вызвался, только спрашивает, какого размера, скажите. Да вот беда, никто из нас Бедию-недобитка в глаза не видел, но по рассказам стариков наших получалось, что был он повыше мартвисца всякого и сажень кося в плечах. Под такого и сбил Митуа гроб тот. Взвалил его Лелуа на спину и в лощину потащил. А когда положил недобитка в домовину, добрая половина ее пуста оказалась — сжался, высох Бедия, что инжир, на дереве перезимовавший.

И потащили волю бедиевы арбу двухколесную с гробом по проселку разбитому за околицу к каменоломне заброшенной. Лелуа впереди шел, чтобы волы с дороги не сбились. Грохотала, прыгала арба на ухабах, и Бедия-недобиток из угла в угол в гробу перекатывался, о стенки бился, места себе не находил. Часа три громыхала арба, и каждый встречный, поверишь, спиной к ней поворачивался, на обочину сходил

и ждал, пока пыль, арбой взбитая, снова на землю не уляжется. Время от времени протяжно волю мычали и деревенские собаки согласно подвывали им. А Лелуа с головой непокрытой впереди шагал, ни разу не обернувшись и пота не утерев, градом по впалым щекам скатывавшегося. Серая пыль сединой оседала на его курчавые черные волосы. У каждой дороги есть свой конец, но у этой, казалось, конца не видеть. Солнце палило нещадно, и приторно-тошнотворный запах мертвечины пропитывал густой воздух.

За околицей Мартвиси волю прибавили шагу, словно почуяв близость отдыха. Завидев Лелуа, голый по пояс Тедо с огромным платком на голове поднялся с камня у вырытой могилы и навстречу арбе пошел. По пути он нагнулся, с земли молоток и гвозди поднял и подошел прямо к арбе. Волю остановились, как вкопанные, Лелуа, стараясь не глядеть на покойника, помог Тедо поднять крышку гроба. Тот на ощупь нашарил край савана, не посмотрев, прикрыл им лицо покойника и опустил крышку. Потом торопливо вколотил гвоздь за гвоздем, попробовал крышку и кивнул Лелуа. Ухватившись обеими руками за гроб, они подняли его, пронесли над краем арбы и потащили к могиле. Могила была неглубокая.

«Камень... Кабы не лом да кирка... Веревку держи...»

Чтоб было верней, Лелуа веревку на руку намотал. Гроб над раскрытой могилой раскачивался. Тедо, перебирая руками, стал веревку опускать. Лелуа на успел уследить за движением его рук и продолжал крепко веревку держать. «Отпускай!» — крикнул Тедо, да поздно было уже. Гроб накренился и, перевернувшись, в могилу упал. Тедо хотел было прыгнуть в яму, чтоб гроб поправить, да Лелуа глухо бросил: «Оставь». Тедо быстро взглянул на Лелуа и опустил голову. Камни со стуком посыпались на днище гроба, и вскоре яма до краев большими да малыми камнями заполнилась, которые час назад Тедо с трудом из нее выковырял. Тедо на тело рубаху натянул, подобрал с земли лом, кирку, лопату и себе на плечо положил.

«Бросай в арбу», — сказал Лелуа.

«Не надо», — мотнул головой Тедо и зашагал по дороге.

Лелуа, ухватившись за ярмо, трудно развернул волов и, не оглядываясь, пустился вслед за Тедо. Волю коротко замычали, потоптались на месте, громыхая арбой, покорно потащились за Лелуа...

Вот так и случилось, что Бедию по второму разу и уже навсегда камнями забросали. А впервой было это в одна тысяча девятьсот сорок четвертом году. В ту пору мне восьмой год пошел, и помнить я ничего не помню, ни про себя, ни про других, да и что, спрашивается, может малец такой помнить. Но, чудное дело, столько раз я про недобитка от отца да деда своего слыхивал, что сам, кажись, при том был...

Верно, видать, говорится: не то помнится, что глазами видел, а то что душой принял. Вот так и я. А разговоров, скажу я тебе, столько было, будто людям ни о чем больше говорить да рассказывать не моглось.

А все оттого, что долго у народа сердце саднило — одним словом, у кого что болит, тот о том и говорит...

Но прежде я тебе про другое скажу, чтоб понятней было. Смутное, сказывают, время в ту пору наступало, бурливое да горькое, беспокойно народ жил, а тут еще голод на порог заявился — три года кряду сухостои выдавались, ни слезинки с неба не упало, реки в ниточки обратились да и те пообрывались. Раньше, бывало, полсуток берегом бредешь, брод выскиваешь, а тут сплошь брод, ходишь по речному дну, как по суху. И земля потрескалась, рот пересохший разинула, все нутро насквозь видать, гляди в оба, чего доброго, провалишься в щели те, не доищешься потом, сколько не ищи. А ведь и такое случилось, сказывали. Подросток один, подпасок деревенский двенадцати годов отроду, Николай звался, за быком блудливым бегаючи, в землю разверстую провалился, и поглотила его земля безгрешного без следа. Обыскалась подпaska деревня вся, да где найдешь. Матушка его, бедняжка, с ума свихнулась, дни и ночи не смыкая глаз у трещины под горой, волосы рвала, щеки царапала, сына все звала, дожидалась, да не дозвалась, не дождалась, сама в трещину ту за сыном пошла, но не приняла ее земля, не стала беду множить, горе сугубить. Так и осталась она по земле бродить, души бередить, пепел ворошить, народ полошить...

Богата деревня наша овцами была — на каждую травинку на Иално, почитай, по овце приходилось, да вот не на каждого поровну овцы те распределялись — у одного отара целая, у другого две-три шелудивые овечки, шерсти на носок ребячий не настрижешь. А когда повыжгло, повысушило траву на Иално, располовинилось овец: у кого баранта была — баранта и осталась, а у кого две-три овцы траву щипали — ни единой не выжило. Скотина же, считай, и вовсе перевелась, всю под нож пустили — где на нее травы напасешься, коли ее и на овце не достает. Голод тут пошел лютый — всех достал, всех отметил, кого больше, кого меньше, да не все его одинаково приняли-пережили. Одни корни пообрывали — ушли куда глаза глядят, в городе осели, землю позабыли, других на каторгу упекли — бунты по деревням, как снежные лавины, прокатились — прогрохотали, а вслед за ними казаки с нагайками да шомполами прошли. А те, кто остались, — обезрадостели, облютели, брат на брата косится, сосед на соседа, затворился-замкнулся народ по домам да дворам, одичал, хоть волком вой, хоть криком кричи — друг до друга не докричишься. А особняком да в одиночку ни дела не сладишь, ни врага не спровадишь, ни гостя не приветишь, ни от душегуба не уберешься. А разбойников, надо сказать, по лесам да чащобам развелось тьма-тьмущая, что уж, казалось, с народа нашего возьмешь — гол, как сокол, а и последнее отбирали, овец оставшихся угоняли, несговорчивых да неуступчивых в калек обращали. В соседнюю деревню даже в ясный день с миром не доберешься, а в сумерки из дому да со двора носу не высунешь. Темень, одним словом, с народа нашего кругом темная, свету неоткуда проглянуть-пробиться, чтобы хотя бы ненадолго дорогу осветить. Так вот

и жили, тужили, в потемках шарили, от вечера и до утра, от утра и до вечера, про завтрашний день не помышляя, потому как до него еще дожить надобно, а тут попробуй доживи. Без хлеба насужного человеку трудно, а без надежды и вовсе никак нельзя, да и как без надежды прожить, коли ты не мотылек-однодневка, не себе, так детям путь указать-протоптать должен — иначе зачем и жить тогда, ни в природе, ни в народе следа не оставив...

А потом дожди пошли, да какие дожди, хляби небесные разверзлись, и небо на землю пешком сошло. Да вот странность великая — дождь стеной над землей стоит, а земля сухая, весь мокрый с головы до ног, а ходишь посуху. И все оттого, что так земля исстрадалась да высохла за три года сухих, и дождям не напитать, не напоить ее достать было. Уходила вода в трещины, вглубь, а земля все впитывала да впитывала влагу живую и напитаться, насытиться ею не могла, вот ведь как бывает. А как напиталась, насытилась, утолила жажду страшную, набухать стала, что вымя коровье. И заполнились, сошлись, соединились трещины — шва не осталось, вода уж поверху катается, не может ее земля в себя принять да вобрать, некуда больше.

И ожили, заговорили тут реки пропавшие, онемевшие, взбурлили, зыграли, понесли по руслам заждавшимся, проторенным, ручьи от них врассыпную разбежались в стороны разные, понесли по желобам мельничным, и сдвинулись, закрипели застоявшиеся жернова, только зерно подавай, да где его возьмешь, напасешься, все закрома вчистую выскреблены, ни зернышка не същешь. И выбросила тут земля зелень да цвет, былинки землю раздвигают-расталкивают, вверх тянутся, силой наливаются, деревья почками взрываются, треск вокруг стоит сплошной, ничего кроме не слышно. А тут еще и живность вострепенулась, к траве потянулась, заблеяла, замычала, заверещала, овец ноги не держат, скотина голову не держит — сил не хватает, а тычутся мордами в землю ожившую, траву губами отвыкшими щиплют, нащипаться не могут.

А что люди, спросишь ты. Люди не земля, коли трещины в душе появились, не скоро их заполнишь, соединишь, все шов останется. Не просто размягчить, разрыхлить душу окаменевшую, напитать влагой доверия, освободить от коросты жесткой, обронить в нее зерно надежды. Дожди прошлишь обильные, соком земля набухла, вострепенулась жизнь, а люди все, как в сущь великую, по дворам своим хоронятся, межги глубят, души себе бередят. Природа ожила, да вот в человеке человек мйровый умер, разбрелись люди, что овцы, кто куда, не собрать волкам на радость. А за волками, известно, дело не станет, тут они как тут — зубами клещают. Распался мир, и развелось в деревне мироедов да живогло-тов, что паутины в доме брошенном, кровушку высосут, все нутро вые-дят, вышелушат почище засухи, хоть плачь, хоть в землю вместо зерна живьем ложись.

Доводилось тебе баранту видеть волком напуганную-потревожен-ную, нет? Мчатся овцы, потеряв голову, глаза зажмуря, шарахаются из

стороны в сторону вслепую да наобум, даже пастуха своего не признают. Зовет их пастух, надрывается, бегаёт то за одной, то за другой, ноги в кровь сбивает, а те враспынную в расселины да пропасти сигают, друг дружку калечат, о камни бьются, бывает, и пастуха подомнут-истопчут, зря, что о них же и печется, спасти норовит. И так оно и кружится, пока страх не схлынет, пока глаза не откроются, пока душа из пяток на место не возвратится да не уляжется. Беда от беды, одним словом.

Так и с человеком тем было, что в деревню нашу неведомо откуда явился. Потом, правда, говорили разное про него, одни, что с дождем вместе пришел он верхом на облаке, другие, что солнце его оставило земле на память, людям на радость, третьи, что не приходил он ниоткуда, а просто глазу человечьему раньше невидим был, словно дух бесплотный. Но то потом было, а поначалу, когда он слово говорил, люди уши зажимали, когда путь указывал, глаза зажмуривали, когда за руку вел, руку вырывали, когда миром жить да миром нечисть выводить звал, спиной к нему поворачивались. Известное дело, нет пророка в своем отечестве, а он свой был, хоть и жывал за тридевять земель, хоть и одет был, что чужеземец какой, да и слово, как чужак, молвил, все едино свой был: деда его народ в давние времена звал, по имени называл, к себе зазывал да и сам в дом его хаживал... И не просто так Лексо в деревне нашей появился — старостой пришел, человек ученый-преученый, чистый из себя весь, ногти на пальцах обеих рук гладкие, обстриженные, ни земляных, ни навозных каепок под ними, а гляди-ка, в деревню вернулся. За дело взялся яро, словно проголодался там, на чужбине, да и дело разумел крестьянское, как крестьянин истый.

Народ за ним издала в щелочки во все поглядывает без злобы, но и без веры, поглядим, дескать, надолго ли тебя хватит в темноте нашей шарить, ботинками заморскими навоз да грязь месить. А жил Лексо на первых порах в городе, хоть и был у него дом дедовский в Мартвисе нашем. Дом-то дом, да как в нем жить, когда три десятка годков, поди, не забрела под крышу его ни единая душа живая, время да ветры буйные дух человечий из него выдули, выстудили, что погреб холодный, и дерево внутри еще живое, а жизни не осталось — вся вышла без остатка.

Смотрел, смотрел на дом тот Лексо, потоптался возле, рукой махнул, на лошадь вскочил, прочь ускакал. А коли человек в доме своем жить не желает, золу стылую не разгребает, очага не разжигает, корень не пускает — недолго ему грязь деревенскую на подошвах ботинок таскать. С того и веры в него не было.

Да и откуда, спрашивается, вере той взяться, коли двадцать три версты сюда да столько же обратно на лошади скакать день каждый, подков не напасешься, копыта все бедняжке в кровь собьешь, шкуру на хребте до дыр протрешь-излохматишь. А тут еще Лочини-река наша по весне, что тесто на дрожжах взошла, бурлит, вихрится, деревья несёт, камни ворочает, там, где брод был, — водоворот кипит, втянет, закрутит,

душу вытрясет, проглотит, только тебя и видели. В такую пору насильно человека в воду не загонишь да и сам за версту к ней не подойдешь, а Лексо дважды на дню в реку ту взбаламученную входил да еще выходил, выходил, понимаешь, входил и выходил на лошади своей верхом, в ботинках заморских. Трижды его, сказывают, с лошади срывало, лошадь сама по себе в воде барахтается, он сам по себе, а на берег выходили оба-двое разом.

Зачем, спросишь ты, зачем такое делать было? Вот и деревня вся о том же себя и других спрашивала — зачем? Может, бог весть, храбрость свою мартвисцам выказать хотел? Да не похоже что-то. Мартвисцам храбрости и самим не занимать стать, не в таких еще переделках бывали, такими их не проймешь, а тем паче не прошибешь. А безрассудства да бесшабашности мартвисцы не жалуют: если жизнью своей не дорожишь, почем зря ее на кон ставишь, за чужую жизнь тебе ответчиком да радетелем быть и бог не велел...

А я вот думаю, он себя самого искал. Знаешь ведь, как бывает, себя раз потеряешь, потом всю жизнь рыщешь-ищешь, а пока обрящешь, и с жизнью, гляди, расстанешься. С того Лексо, видно, живота не щадил, себя утерянного все возратить тщился. Много премудрости, верно, он в Германии своей — учился он там — понабрался, да вот ум-разум мартвисский, что дедами завещан был, вчистую утерял. В городе да в Германии той тоже люди жили, так же тужили, может статься, поменьше нашего, и учены были, поди, побольше нашего, да вот у нас, в Мартвиси, чужим умом не много наживешь, коли своего обычая не ведашь.

Зря Лексо за то виноватить, безгрешен он был, что агнец божий, это отец его покойный Андро в том кругом виноват, ушел из деревни юнцом еще, много чужих дорог да порогов истоптал-обил, по всему белу свету помыкался, без него деревня родителя скоронила, Андро не дозваться в ту пору было, так на чужбине и сгинул, чужую землю на грудь свою принял, Лексо же до прихода своего ни дня в Мартвиси не жил, в глаза его не видывал, только слыхал, верно, что родом-семенем отсюда. А ведь пришел, сердцем к отчим краям потянулся, никто его сюда не гнал, не неволил, сам надумал, сам и пришел. Душой к земле родимой припасть-прилепиться, премудростью в чужедальних странах нажитой поделиться.

А делиться ему, скажу я тебе, было чем. Труд наш крестьянский горек и ненадежен. Из десяти семян, что мартвисцы в землю нашу каменистую бросали, дай бог трем прижиться, проклюнуться да под ветрами буйными мартвисскими выстоять, а бывало, ни единое зернышко не проснется, так и умрет в земле, солнца не увидев. Волы, соха да пота три ведра — вот и вся наша власть да сила. Или, скажем, на овец да скотину жизнь, бывало, положишь, душу из себя вынешь да в них вдыхнешь, три пары железных каламани износишь в прах, из шкуры своей вылезешь — в бурку вращешь, по осени, глядишь, с тем же и остался,

с чем в начале был. Да еще молебны всевышнему возносишь, лоб в кровь расшибаешь, свечи в Апарани ставишь — благодарю, мол, господи, за то, что жизнь да овец сохранил, к себе не прибрал раньше срока, на юдоль земную отпущенного. Вот ведь как у нас от века велось, вот что предками из рук в руки передавалось, из уст в уста переходило.

А Лексо пришел да смуту в сердца наши заронил, не так-де живете, не тем дышите, не то деете. Все он знал-разумел: где какое зерно сеять надобно, чтобы из каждого сотня народилась, как овец пасти-обхаживать, чтоб приплод богаче был, как воду из земли добывать-качать, чтоб в сухости выкарабкаться. Прорастала та смута не в каждом сердце, а коли прорастет где, мартвисцы ее тут же, что бурьян с корнем, выпальвают, потому как лошади в Лексо не было, да и будь она, все едино обычай покрепче веры любой. Бился Лексо, что птица в силках, да мартвисцы на своем стоят, не отступаются; душа на засов, на глаза шоры, ставни на уши. Впору уходить откуда пришел, чтоб в монастырь чужой со своим уставом не лезть, не соваться.

И может статья, ушел бы Лексо куда глаза глядят, да ведь не чужой ему монастырь тот был, и в нем мартвисец сидел, что пуля под сердцем, — не убивает, но и жить спокойно не дает. Вечер каждый, как он в город на лошади своей ускачет, все думают, бывало, не вернется больше, останется там, исчезнет из жизни нашей, словно и не было его вовсе. А наутро, глянь, скачет ни свет ни заря, только грязь из-под копыт во все стороны разлетается. День за днем одно и то же, он к нам, мы от него, игра, ей-богу, в прятки, что ли, получается дурная, смешно даже — кто кого согнет-переупрямит.

И не иметь, знать, игре той ни конца и не краю, кабы не случай один, что все перевернул да переиначил. А началось все с того, что не раздалось раз перестука копыт лошади лексовской на рассвете по проселку мартвисскому. Час прошел, другой кончился, а Лексо все нет да нет. Мартвисцы уши наострили, с проселка глаз не сводят, места себе не находят. А как третий час к концу подошел, слух по деревне разнесся, что Лексо, по всему видать, не приедет больше, отскакался, дескать, сът по горло грязищей мартвисской, неблагодарностью черной мартвисцев крепколобых. И поделом нам, дескать, темноте беспросветной, коли не сумели добро распознать да в сердце свое впустить. Помрачнели мартвисцы, пригорюнились, аж лицом почернели, зубы ножом не разжать — не раздвинуть, беда, одним словом, хоть и виду стараются не подавать. Ужели отступился, ужели сломался, не к лицу мартвисцу такое, легче голову сложить, нежели спину врагу показать. Выходит, недаром мартвисцы поодаль от Лексо держались, близко его к себе не подпускали, смуту посеянную из сердец изгоняли.

Оно-то вроде и так, да вот какво признаться, что пронял-таки Лексо мартвисцев, растравил душу, на жизнь свою оглянуться принудил. Может, и незаметно со стороны-то было, да куда денешься, было ведь. И вот теперь незадача такая — сгинул человек, не воротишь уже, ни от-

крыться перед ним, ни покаяться. А как четвертый час вышел, порешили мартвисцы, что и не человек вовсе Лексо был, а испытание божье, чтоб сбить их с пути предками протоптанного, отвадить от заветов законных, судьбой предначертанных.

И только было укрепились мартвисцы в мысли той, как топот конский да шорканье овечь по деревне прокатились. Все мартвисцы от мала до велика на проселок вышли. Видят, отара клубком белым, неразмотанным катится с козлом бородастым впереди, а следом за ней лошадь лексовская с всадником, к холке припавшим, трусит. Загомонили-зашумели мартвисцы, навстречу отаре хлынули рекой черной бурливой, на рукава разодранной. Отара путь реке преградила, буруном завертелась, заблелая, словно масло в комок сбилась. Захлестнула, обтекла ее река, что островок намывной, и к лошади рванулась. Вскрапнула лошадь испуганно, с шага сбилась, на дыбы было взвилась, да руки к ней железные со всех сторон взметнулись, под уздцы ухватили, копыта в землю, что колья, вколотили. А на лошади Лексо пластом лежит, правой рукой за шею обнимает, лицом окровавленным в холку уткнулся, а левая рука плетью висит-болтается. Мартвисцы ноги Лексо в ботинках заморских из стремян высвободили, к крупу назад отвели, левую руку попридержали сторожко и стянули всадника с лошади присмирившей. Сморгнулся Лексо от боли нестерпимой, руку правую разжал, а из нее левольверт крохотный на землю выпал.

Заохали, заголосили тут женщины, а мужики грозно зыркнули на них, те и подавились криком. И упала тишина на проселок, словно ястреб подбитый, только овцы осмелевшие невесть куда зашоркали, козлом бородастым ведомые. А Лексо от подмоги отнекивался, ничего, дескать, со мной не случится, вы лучше о пастухах позаботьтесь, что в ложине Лочини мертвые валяются. И вновь завыли, запричитали женщины, а мужики от Лексо отпрянули, к своим дворам вроссыпь бросились, кто за лошадью, кто за арбой, а кто пешим ходом напрямиком к деревенской околице без оглядки ринулись. Женщины возле Лексо хлопочут, слезами горькими его обливают, платки в воде вымоченные к лицу разбитому прикладывают, руку левую к боку приторачивают, чтоб не болталась зря.

Загрохотали арбы по проселку, лошади рысью понеслись, пыль столбами взбивая. А Лексо на завалинку уложенный к мутаке, под голову подставленной, щекой белой привалился, забылся, видать, болезный наш, дышит едва...

Между тем мартвисцы пастухов убитых в деревню на арбах привезли. Трое их было, сердечных, страшно смотреть, не люди — мешки кровавые с костями перебитыми — прутьями их железными, верно, на смерть застегали, места живого не сыщешь. Зверье облютевшее, бешеное с охотником неправым такого не учинит, а разбойники те — люди никак, матерью вроде рожденные. Овечьей души заради человечью к богу отправить, себе подобного живота лишить по-шкаляли — не просто

грех великий, а надругательство над матерью родимой. На что уж мартвисцы к смерти привычные были, но тут и они спасовали, яростью налились, безо сговору всякого в погоню деревней всей снарядились, да толку что, ищи ветра в поле, жаворонка в небе, иголку в стоге сена — зазря все леса окрестные, все тропинки в горах прочесали, лошадей загоняли, а разбойников не доискались. Не впервой у мартвисцев скотину да баранту угоняли люди пришлые, борчалинцы большей частью, да чтоб пастухов так забывать — не было еще такого...

Лексо сам — один с левольвертом крохотным заморским баранту всю, почитай, у пятерых разбойников отбил, да запоздал: те уж пастухов порешили и вброд через Лочини овец перегонять на ту сторону собрались. Врасплох их Лексо захватил, не то и ему рядком с пастухами теми на арбе буркой укрытым лежать. И его прутом огрели, плечевую кость на руке левой перебили, да крепок Лексо оказался, одного застрелил в упор, а остальные прочь ускакали, соразбойника своего реке оставили. Лексо сгоряча в погоню было за ними пустился, да поотстал и с барантой в деревню вернулся, душу в теле зубами удерживая едва.

Подумать только — один противу пятерых нелюдей с ружьями да прутами железными, один с левольвертом игрушечным, а ведь выстоял, да что выстоял, всех в бегство обратил, баранту отбил и сам в живых остался. Ну чем не мартвисец, скажи-ка на милость? Вот и мартвисцы про то говорили — мартвисец, дескать, он, мартвисец и есть, один к одному кровей наших да семени нашего, да пусть он семижды семь в ботинках заморских топает, часы с крышкой на цепочке в кармашке жилетки таскает, все едино наш он, наш и не иначе. Хватит, сказали, в город тебе туда-сюда скакать, не собака на цепи, поди, да и толку в скачках тех чуть. Коли с нами жить надумал, живи тут, а что дом деревенский высушен да выпотрошен, то наша забота, в одночасье сладим, живи не тужи. Староста ты нам или нет? Слово скажешь, повторить не заставим, сказано — сделано, так тому отныне и быть.

Да как же я тут останусь, отвечал Лексо, руку мне лечить надо, кость срastить — дело долгое, а без руки никак нельзя, потому я и должен в город ехать, лекари помозгуют-поколдуют, даст бог, руку спасут.

Да зачем за таким пустяком в город вертаться, коли у нас в деревне всем лекарям лекарь имеется. Шиола-отшельник человек божий, что там кость срastить, он тебе коли что новую руку отрастит, из ничего мужика соберет, кликнем его — в лесу автандарианском он мощи свои сохраняет, травой кормится, травой лечится и травой той мартвисцев пользуется, — мигом к тебе доставим, не сомневайся.

Да вот уперся Лексо, на своем стоит, в город, твердит, мне надобно, и все тут. Упрям Лексо, да мартвисцы упрямей, не отпустим, сколько ни проси, говорят, куда тебе в город, в чем только душа держится, не отпустим тебя на погибель верную.

Жена меня там дожидается, взмолился тут Лексо, жена, помрет она со страху, коли я к ночи не возвращусь, душа из меня вон, а к ночи

возвернусь пренебреженно. Коли сами не отвезете, говорит, посадите меня на лошадь, сам доскачу как-нибудь. Откуда мартвисцам знать было, что Лексо в городе жену держит, про то он раньше ни полсловечком не обмолвился, да и мартвисцы к нему с распросами не лезли, ездит, так пусть себе ездит, все один да один, ну и ладно, а у него, вишь, благоверная в городе имеется, с того он, видать, и гонял туда да обратно на лошади своей, не жизнь то туда-сюда гонять — ни жене польза, ни деревне — прибыль, а Лексо самому погибель чистая, не переведется недобрых людей на свете, да и кувшину ведь не вечно по воду ходить, раз, глядишь, и разобьется...

Смекнули тут мартвисцы, что не переупрямить им Лексо, не удержат его в деревне силой никакой, пошли арбу закладывать, чтоб в город везти болезного, а сами маются, думу горькую таят, что не вернется Лексо больше, что постыло-обрыдло ему горох об стену бросать. Чуть ли не стог сена цельный на арбу ту набросали, чтоб не тревожно Лексо было на колдобинах переваливаться. Мартвисцев четырех на конях отборных в путь снарядили, чтоб от напасти новой Лексо уберечь, в город его невредимым доставить.

Запрыгала арба по проселку, повезла Лексо. Двое мартвисцев впереди арбы на конях трусят, двое сади. Молча глядели мартвисцы арбе вслед; брови жмурят, бороды пощипывают, а бабы, те и вовсе всплакнули втихомолку, — слезы споро так платками поутирали, чтоб мужики не приметили.

На ночь глядя четверка мартвисцев с арбой в придачу вернулась, деревня спать не ложилась, их дожидаячись, что-де там да как. А те спешились, коней разнуздали, волов из арбы выпрягли, и ни слова. Мартвисцы молчат, ждут, когда сами заговорят, а те дело свое неспешно делают и молчат. Терпеливы мартвисцы, упорны, нет так нет, куда спешить, ночью не желают, утром скажут, а не скажут, так значит, нечего. Собрались было мужики по домам, да тут бабы не выдержали. Налетели на тех четверых, что куры, мигом им языки поразвязывали. Не видать, говорят, нам Лексо больше, как ушей своих, не жить ему в Мартвиси с женой такой красавицей-раскрасавицей: ни словечка по-нашенски не разумеет, одета, что княгиня какая, да, верно, княгиня она и есть заморская. С того, видать, и не привозил Лексо жену в Мартвиси, да тут ее ветром сдует, унесет, что пушок невесомый, в грязницу нашу ступит, пропадет мигом, как бы не было ее вовсе, нет, не жить ей тут... А спокойная, не чета бабам нашим, другая бы криком изошла, когда мы вчетвером Лексо в дом внесли, все бы щеки в кровь исцарапала, а она лицом чуть побелела, да еще показывает рукой, куда его положить надобно...

Помрачнели мартвисцы, ночь на дворе, а лица ночи чернее, не зря, видать, чуяли сердцем недоброе, да и откуда добру быть, спрашивается, не сумели они своего же мартвисца душой принять, человек из сил выбивался, живота не щадил, чтобы глаза им открыть, к свету вывести из мрака гибельного, а они... Да уж что было, того не вернуть... Разошлись

мартвисцы по домам, что чужие, не прощаясь, будто и не было дня этого, когда они впервые за годы все вместе, как на сход собрались, одной бедой изболелись, общей судьбой соединились. Ушел Лексо, и распались люди, что бочка рассыпаясь, ждут, когда бочар явится, чтоб вновь собрать их, пригнать тесней друг к дружке, да обручем железным воедино скрепить...

А когда ночь короткая на убыль пошла, истаяла, что сон предрасветный, по проселку деревенскому сумеречному тени замелькали, затопились да все в одну сторону — к дому лексовскому, к гнездовью его дедовскому, заброшенному. А когда еще и солнце макушку из-за Иално высунуло, мир осветило, оказалось, что вся мужская половина Мартвиси у подворья лексовского топчется, друг дружку невзначай оглядывает, словно прощупывает, зачем побеспокоились, дескать, зачем пожаловали сюда ни свет ни заря. Но вскоре надоело всем в прятки детские играть, не век же стоять в самом деле, чурками прикидываясь. И распозлились, растекались все поодиночке по двору да по дому, каждый себе по душе, по сноровке дело облюбовал, откуда только инструмент взялся, загодя, видать, заготовили, кто на что горазд. И закипела тут работа, словно вода в котле, того и гляди, через край переклестнет. Сначала молчком труднились, разве что кракнут ненароком, да тут же по сторонам оглянутся — не слышал ли кто.

Но потом пошло, поехало, забыли вчистую про молчанку хмурую, кровь по телу разбежалась, руки разошлись, языки развязались, слово вспорхнуло, по кругу полетело, в песню сложилось, а кто, какой чудак, скажи на милость, про себя да для себя поет, песню, известно, в одиночку не сладишь. Сперва один подтянул, потом другой вступил, третьего втянул, четвертого на подмогу призвал, а там и голоса разобрали, басами подкрепили, струну натянули. И загудела песня, да так, что хоть из пушек пали — не расслышать. А с песней и дело спорится, и душа смягчает, и сердце распахивается настежь. А тут еще и женщины с хлебом-солью подоспели, сначала было каждая к своему суженому потянулась, да видят, дело по-другому обернулось, и неловко как-то сделалось поодиночке хлеб преломить, солью сдобрить, вином запить. Сошлись все разом, руки ополоснули, пот с лиц смыли, уселись рядком, друг дружке хлеб пододвигают, зелень протягивают, вино в стаканы наливают. Слово в слово — разговорились, лбы разгладили, глаза подняли, прямо глядят, не искоса, как прежде бывало. А время вышло, поднялись дружно, растекались по двору парами да кучками, чтоб сподручней дело делать.

А дел было, скажу я тебе, невпроворот, с того Лексо, видать, и на попятный пошел, ни в какую в одиночку не переделать всего, что за год долгие набежало. Ворота отрухлявели, тронешь — посыпятся, что иглы с сосен в сухостой, ограда местами обрушилась, местами на нет сошла, земля узлами корневич насквозь оплелась, лопату не вогнать, а камня, камня-то — скрежет сплошной, будто кто понарошку землю камнями засеял — один бросил — пять проросло, так и лежат поверх, на солн-

це бока греют. Овин скривился — одна стена в землю ушла, другие по швам разошлись, рука в трещины запросто войдет, черепица осыпалась, побилась, красное крошево под ногами хрустает; сарай, тот и вовсе ветрами нашими мартвисскими унесло, а что осталось, на землю рухнуло да погнило. В колодце воды давно и след простыл, обвалились камни со стенок, землей покрылись — не разгрести, хоть новый рой. А об доме и говорить нечего — одна видимость, остов да и только: жучки балки да стропила вдоль и поперек проели-изгрызли, труха одна, полы прогнулись и выгнулись: немудрено, дождь льет, что на дворе, что в доме, все одно, спасу нет, и снег в зиму сугробами по углам лежит, хоть лопатой разгребай. А в августовский звездопад, того и гляди, звезда какая заблудшая сквозь прореху в крыше на пол угодит.

Одним словом, руки впору опустить да уходить прочь, не оборачиваясь. Оно-то так, да вот как иначе Лексо к деревне привяжешь и в глаза ему посмотришь. Может статься, еще и насмарку труд весь и пойдет, зря, может, в землю, и в дом тот душу живу вдохнешь, а что Лексо в нем все едино жить не схочет или жена заупрямится? Не силком же, в самом деле, затащить их сюда да держать станешь. Но нет, не бывать такому, мартвисец мартвисец и есть, как войдет под кров отчий, как разожжет очаг разок, на аркане его оттуда потом не вытащишь.

На то мартвисцы и рассчитывали, с того всем миром и навалились они на подворье лексовское, головы не поднимая, спины не разгибая, рук не покладая работали дотемна. Одних камней ароб сорок, почитай, вывезли, а корневищ, корневищ вывернули видимо-невидимо, землю всю перекопали-перелопатили, взрыхлили, что шелк между пальцев скользит, течет-переливается, ни комочка, ни камешка, рожать ей не перерожать. А как землю уважили, к деревьям подступились — мертвые ветки да сучья обрубили, дремавшие взбудрили, юные привили, одичавшую, бесплодно разбежавшуюся лозу обрезали, омолодили, подпоры обновили, чтоб неслась без помех да благословенные гроздья вынашивала. Привели подворье в вид божеский. Засевай, засаживай только да радуйся.

А как к дому перешли, тут-то загвоздка и вышла, за что ни брались, все из рук валится, в труху обращается, прахом осыпается. Бились, бились, да все без толку. А коли дело не ладится, согласия не видать, коли руками занять нет, языки не унять. Взроптали мартвисцы, заспорили, распрю затеяли, как во времена прежние, недавние. Одни твердят, что дом свое отжил, а мертвого, как ни тормоши, все едино в живого не обратишь, срыть его надобно и делу конец. Другие кричат, что дом новый сладить хоть и проще, да как к сроку управишься, коли по весне у каждого дел невпроворот, не до дому тут лексовского, не с голоду ведь помирать из-за него, сердечного. Третьи и не поймешь, чего желают, просто горло дерут, чтоб других перекричать да себя показать. Разброд, одним словом, кто в лес, как говорится, кто по дрова. И не бытъ nelaдам тем ни конца, ни краю, кабы Иосеба-плотник голоса не подал:

горланите, мол, почем зря, а про хозяина и думать позабыли: как же это не спросяся Лексо дом его дедовский рушить, не вами он строился и не вам его носить. А ведь дедовский дом, он дедовский и есть, не там дом, где крыша, а там дом, где сердце, только оно кровь и будоражит, с предками связывает, к жизни привязывает. А попробуй сердце лексовское в дом новый вселить — не того он корня человек, чтоб милостыню — дом новый хоть от кого принять.

Поутихли люди, угомонились, к делу вернулись, глаза протерли, зорче вокруг огляделись, не все им так, из рук вон, как поначалу показалось. Труху обмели, прах вынесли, а там глядишь, и крепость половиц дубовых проглянула, и кладки добротность обнажилась, и выносливость матицы обнаружилась. Повеселели мартвисцы, и вновь работа зашпорилась, несогласие как ветром сдуло, вдаль унесло, по свету развеяло. В три дня нутро обновили, стены оживили, полы перестелили, душу затеплили, и оказалось тут, что жить дому да жить, старых ютить, молодых согреть, малых пестовать, дни продлевать да множить.

И вознесли тогда мартвисцы «Мравалжамьер» основе нерушимой, очагу негасимому, духу неистребимому. С тем и по домам разошлись, в заботы свои каждодневные с головой погрузились, обо всем вроде и думать-помнить позабыли...

А между тем рука у Лексо, сказывали, путем своим заживала, и кость срослась, благо осколков не было, глядишь, крепче прежнего сделается. Мартвисцы, те Лексо не навещали, не желая в тягость ему быть, недужному, да глаза жене заморской почем зря мозолят; слали с оказией каждой лишь приветы да гостинцы нехитрые деревенские, но и тут меру блюли — а что как Лексо сочтет, что набиваются ему в близкие, либо снова в деревню на аркане звать-затащить норовят противу воли его. Выздоровеет пусть, а там видно будет, коли перетянет душа, и сам в Мартвиси придет, а нет, так нет, насильно ведь мил не будешь. И про дом да подворье никто из мартвисцев ни словечком единым не обмолвился, как воды в рот набрали, возвратится и сам увидит, а может, и рассерчает еще, зачем-де без спросу в дом дедовский совались. А не придет — будет стоять дом, как прежде стоял, хозяина своего дожидаться...

Вышел срок — поправился Лексо, в городе его соседи наши видали: с женой под руку, здоровой поддерживал, а раненую в повязку через шею перекинутую просунул, чтоб не уставала болтаючись. Как прослышали про то мартвисцы, в ожидание обратились, не может ведь такого быть, чтоб хотя бы не проведаль деревню родную, даже коли ворочаться в нее не собирается. Каждое утро слух напрягали да нет-нет между делом на проселок мартвисский глазком одним поглядывали, авось, Лексо на коне своем справном ненароком покажется. Какие только лошади по проселку не скакали, какие быки не пылили в арбы впряженные, какие ишаки не переваливались, а цокота копыт коня лексовского все не слышать да самого Лексо не видеть было. Верно, ходить он, куда ни шло,

еще мог с грехом пополам, а вот на лошади верхом вдальчень такую — ни-ни...

День один ясный пролетел, за ним день добрый промчался, третий пригожий мелькнул, четвертый красный сквозь пальцы протек. Лишь на пятый Лексо объявился, да черным-черным день тот выдался. В ночь разбойники-душегубы вновь на пастухов мартвисских напали, троих на-смерть убили, двоих калеками сделали, чуть ли не всю отару угнали, и как в воду сами канули — ищи-свищи.

В пяти домах мартвисских плач да стенания кровлю до небес подняли, мраком окна занавесили, в саван белый покойников обрядили, в холстину черную — домочадцев. Жажда отмщения по Мартвиси прокатилась, через заборы-ограды переклестнула, ворота сорвала, на площади деревенской вихрем закружилась. А тут, как сказал я уже, Лексо наш объявился, никто не слышал цокота копыт коня его — плач да вопли у всех в ушах стояли, никто не видел, откуда он взялся — злые слезы всем глаза застлали. Народ к нему обратился лицом и сердцем, к коню его потянулся, под уздцы ухватил, сойти помог. Черен сделался Лексо лицом ясным, в руке раненой плеть корчится, рука здоровая в кулак сжата — не разжать.

«Что делать будем?» — народ его вопрошает, от Лексо ответа ждет.

Ничего не ответил Лексо, по проселку прошел, в переулочок свернул. Народ за ним. Подошел Лексо к дому покойного пастуха Мито, домочадцев обнял, горе-горькое с ними разделил и дальше пошел. Народ за ним. Теперь к дому Джоколы он направился, чад его малых приголубил, матери слова утешения тихим голосом сказал, братьев поддержал-ободрил. Так и обошел дом за домом, усопших всех уважил, к горю домочадцев причастился, и народ за ним послушно тек.

А потом Лексо на площадь вернулся, на завалинку опустился, в думу горькую погрузился. И народ тут же клубится, клокочет, места себе не находит, ждет, когда Лексо слово вымолвит. А Лексо все молчит и молчит, словно не видит никого да не слышит.

«Что делать будем?» — выдохнул тут народ жарко да нетерпеливо. «Только время зря переводим, разбойникам потакаем. Кровь кровью смыть надо, не то новой не миновать»...

Очнулся тут Лексо, лоб рукой здоровой отер, будто думу тяжелую смахнул наземь.

«Покойников хоронить наших будем, вот что».

«Значит, и на сей раз спустить душегубам проклятым, чтобы внове такого дожидаться? Ну нет, мы с гнездовьем родовым их вывернем, с землей сровняем, кровью польем, неповадно чтоб было впредь к нам соваться, кормильцев со свету сживать да калечить!»

«Да вы хоть знаете толком, кто их живота, злосчастных, лишил-то?»

«Знаем, как не знать, борчалинцы то были богопротивные, не впервой вроде черный день на нас насылают».

«Что ж, поступайте, как совесть велит, я вам тут не указ. Да вот что я вам скажу: месть та — советчик дурной, на оба глаза подслеповатый, с того и правого от виноватого не различает. А кровь невинную пролить то же, что покойников наших покоя лишить вечного, да и живых тоже. Кровью кровь не смыть — только умножить, ведь за кровью кровь последует и не видать тому ни конца, ни краю. Не могут все виноватыми быть. Виновен лишь тот, кого за руку с кинжалом, либо ружьем схватишь. Вот и надо того виновного на веки вечные покарать. А как, — то предки наши получше нашего надумали да порешили во времена давние... Я свое сказал, а вы уж делайте, как знаете»...

Пока Лексо говорил, тишина стояла — глухим себя счесть в пору, а как закончил, выдохнул народ, что из груди единой, да к плачу горькому прислушался, из домов убиенных наших доносившемуся. Сердцем всем вняли мартвисцы словам лексовским, какой уж раз подивились мудрости его великой и разошлись молча с площади деревенской покойников горемычных обиходить да в путь последний собрать.

А Лексо, из сил выбившись, посидел на завалинке малость самую, потом к коню своему побрел, с грехом пополам на него залез и от боли в руке темно скривился. Шагом пустил он коня к дому дедовскому, а как подъехал поближе — застыл вместе с конем, что в землю вкопанный.

Жизнь вешним цветом кипела-клубилась по подворью знакомому, а ведь мертвым-мертво было тут вчера еще. И земля покойно дышала, камни скинувши, да гнала из нутра своего зелена парные к солнцу ласковому. Лихо усы побегов закручивали лозы ухоженные, моложавые. Закачало Лексо от духа навозного, прелого да запаха сладкого дерева свежесвыструганного. Заржал конь, ушами запрядал, с места сошел, к воротам двинулся. Попридержал Лексо коня и сошел с него осторожно, чтобы боль в руке не будить. Провел ладонью дрогнувшей по кладке ограды обновленной и боком во двор ступил через ворота ладные. Не стал он к дому подходить, а все глядел издали на стены его окрепшие, речным валуном выложенные, глядел, словно наглядеться да налюбоваться вдосталь на него не мог. По балконе отскобленному солнцем желтый ковер расстилало с узорами темными от листьев ореховых — да так, что боязно было ступить на него. Постоял, постоял Лексо, плечо раненое рукой потирая, потом повернулся вдруг круто да вон со двора вышел.

А конь губами мягкими траву молодую у подножья ограды пощипывает, хвостом помахивает. Подошел Лексо к коню, по холке его потрепал, сунул ногу в стремя и тяжело в седло упал. Снова лицо его от боли потемнело — скривилось, но тут же прояснилось. Тронул Лексо поводья, и конь послушно по проселку затрусил, Лексо назад оглянулся и не отворачивался, покуда дом дедовский с глаз не скрылся, пригорком прикрытый.

А мартвисцы, Лексо завидев, по домам да по за оградам попрятались, оберегаясь с ним столкнуться. Поглядывают на него из укрома, глаз не сводят. А Лексо все едет и едет шагом, прямо перед собой смотрит, по сторонам не оглядывается. Вот и Мартвиси позади остался. Ни разу не остановился конь, поводьев перебору слабому послушный, знай все вышагивал и вышагивал себе до самой реки. Лексо в седле покачивался да вперед смотрел, будто разглядывал что, глазу невидимое. Солнце лучами горячими в грудь ему упиралось, а тень короткая от коня со всадником все плелась и плелась по пятам за конем да всадником, на рытвинах спотыкаясь...

А в день другой, утром ранним фазтон городской, на ухабах мартвисских переваливаясь, по проселку заковылял. Лошади сытые, грудастые, чуть не вдвое покрупнее наших горных малорослых, брезгливо отфыркиваясь да шеями гладкими поводя, фазтон городской к дому лексовскому тащат. И сидит в фазтоне том Лексо наш в одежде черной, котелок черный с головы вот-вот свалится. И цепочка серебряная от часов, на солнце посверкивая, подпрыгивает и по животу его колотит нещадно. А рядом с ним женщина белолицая в платье белом и в шляпе белой то и дело вспархивает, что бабочка лесная, улетит, гляди, коли не придержать на поворотах. И набит фазтон тот сундуками кожаными чудными, ремнями перетянутыми, да коробами разными — круглыми да плоскими.

Что греха таить, не балованы мартвисцы наши фазтонами городскими были да и женщин таких, признаться, тут отродясь не видывали. Бабы нашенские на невидаль эдакую во все глаза глядят круглые, любят, молитву про себя шепчут, а мужики те и бровью не ведут, словно по проселку не фазтон городской, а арба завалиющая деревенская грохочет...

Да что долго болтать, приехал к нам Лексо с женой своей, и все тут, жить приехал в доме дедовском, горе наше большое да радости малые делить, детей уму-разуму учить, взрослых от несчастий оберегать — лечить. Так и поселилась надежда великая в Мартвиси нашем с Лексо вместе, словно солнце в туче, не видать его вроде, а из-за краев свет сеется, сердце радует, душу обогревает...

Похоронил Мартвиси убиенных своих, землей засыпал, вином помянул, вечным покоем упокоил, да где покой тот для живых на земле возьмешь? Лексо с женой обживать в Мартвиси стали, непростое то дело — жизнь внове начинать, особливо коли дом выдут да продут ветрами нашими мартвисскими, дыхания живого ни в одном уголке не осталось. Лексо такое не в новинку вроде — наша кровь и плоть наша, вдоволь воздухом родным надышался, чего не знает, нутром чувствует, а каково женщине заморской в глухомань нашу из города угодить, да еще ни самой понять, что тебе говорят, ни другому втолковать, что сказать охота, — бежать в пору, куда глаза глядят. Да вот не зря ее, видать, Лексо в жены взял, терпеливая выдалась, и души ей не занимать стать было. Всегда в платьях нарядных ходила, а деревенского труда тяжкого

не чуралась, с зорьки и до сумерек поздних рук не покладала, спины не разгибала, под стать бабам нашим, подворье в строгости держала, да еще попевала повсюду.

В ту пору на мартвисских детей хвороба глазная напала невесть откуда — гноятся глаза и струпьями-коростой покрываются, а чешутся — глазные яблоки вычесать в пору. И вычесывали, скажу я тебе, слепли на один, а то и на оба глаза сразу. И со мной, сказывали, напасть такая случилась, не ослеп едва. Знахарок всех ближних да дальних матери наши обошли с нами, болезными, водицей святой глаза промывали, чудотворными снадобьями разными пичкали, овец жертвенных в Апарани резали, да все впустую, нет спасу, и точка. Вот тут и взялась за нас Марта, жена лексовская, значит. Понавезла из города мазей, притинок, капель видимо-невидимо, да и выходила всех, кто еще ослепнуть не успел.

Задним умом теперь вот понимаю я, что дело не в мазах было вовсе, а в сердоболлии великом, оно-то и сподвигло женщину чуждеальную в грязи нашей копаться да нас из нее выволакивать. Помню руки ее мягкие да теплые, что губы овечьи, проведет ими по глазам — и боли как не бывало. С того и бабы наши слух по миру распустили: Марта, мол, одним только наложением рук все хворости из тела без следа выводит, перекрестили жену лексовскую в Мариам и стали молиться, словно на икону богородицы апаранской.

Какой только премудрости не учила Марта баб наших: и на машинке шить, что «Зингером» звалась, и вышивать, и кружева разные делать, а сама от них переняла, как шерсть овечью чесать да нитки сучить для вязания. По-нашенски она и раньше, видать, кумекала кое-что, а тут и заговорила еще, чудно как-то слова выговаривала, да все понятней для нас, нежели по-германски. Вишь, как дело обернулось, с того мы за ней, как агнята за маткой, вились, ни на шаг не отходили, детей своих у нее отчего-то не было, вот и тратила она без остатку все тепло материнское, в душе скопившееся, на мартвисских девчонок да мальчишек. Да, воистину ангела с небес бог нам послал, чтобы сумерки наши просветить...

А Лексо меж тем с головой в жизнь нашу мартвисскую окунулся, до всего ему дело было, не зря мы, видать, к Мартвиси его привязали, не то всю силу свою да сноровку он на скачки пустые туда да сюда, сюда да туда тратил. И потом, что из седла увидишь, то одно, а что с порога дома дедовского — другое. Ну и остер же, скажу я тебе, глаз у него оказался, чисто охотник на перепелов, не иначе. Всю подноготную нашу прозрел да наизнанку вывернул. В дом каждый наведася, потолковал о житье-бытье с хозяином каждым, чужое узнал, свое сказал. А домов в деревне нашей, поди, все шесть сотен в ту пору было. Четыре горы Мартвиси окружали, четыре реки жизнь давали, земли наши благословенные не только родючие, да зато пастбища хороши, покосы богатые, выпасы знатны. С того и овцы наши сладкие да стригучие, коровы гладкие да доючие, быки ярые да могучие, волы стойкие да тянучие — вражьему

глазу завидушему показать нельзя, да как от него уберешься-то. Сыры да масло мартвисские янтарные с руками в городе рвали, шерсть мартвисскую тонкую да шелковистую хоть куда возили — отбою от купцов не было, хвалили-расхваливали — вот и сглазили. С того, видать, и разбойники на Мартвиси, что осы на мед, налетали, насмерть пастухов наших жалили, стада отборные угоняли, сами мошну набивали, у нас последнее отбирали.

Вот и Лексо перво-наперво с мужиками мартвисскими и стал совет держать, как с разбойниками управиться. Больно народу погибшие те невинные душу бередили, сердце ранили, а как решать пришлось, кто в лес, кто по дрова разбрелись.

Ясона с четверкой братьев было подбивать сельчан принялись пастбища новые искать от греха подальше, а старые дедовские бросить ко всем чертям, отдать на волю вражью, не погибать же, мол, в самом деле из-за упрямства глупого. Мартвисцев речи такие что нож острый по сердцу полоснули. Взыграла в них гордость исконная, предками завещанная, да так взыграла, что едва Ясону со братьями его от деревни на веки вечные не отлучили.

А тут еще и Хвтисо алхиевский с соседями масла в огонь подлили, делайте, мол, как вам бог на душу положит, по-нашему же, разбоем за разбой, смертью за смерть врагам кровным воздать следует, они у нас овцу угонят — мы у них две, нашего пастуха прибьют — мы троих ихних живота решим, чтоб неповадно впредь было.

«Так потихоньку и перебьем друг дружку годков эдак за пять», — остудили мартвисцы, что потрезвей, горячие головы соседей. «На что нам тогда все овцы, пастбища да дома сдались, воронью оставим, что ли?»

Поднялся тут Фидуа — санигский с сыновьями своими, а их у него шестеро было, все кряжистые, длиннорукие, отцу своему под стать. Кому, говорит, как, а мне не до забот ваших, у меня и своих вдосталь. Овец да скотины, что у меня, что у предков моих вовек не бывало отродясь, пчелы — дело наше родовое, так тому и впредь быть. Я вас на подмогу не звал, вот и вы меня да сыновей моих не трожьте, пусть каждый за себя постоит.

Невертепж мартвисцам речи такие шкурные слышать, да что тут скажешь — бирюком Фидуа век свой коротал, на отшибе жил, бирюком, видать, и помрет, от деревни отрезанный, зря только мартвисцем зовется...

Лексо между тем в перепалку не мешался, сидел в стороне, молчал себе в тряпочку да мужиков слушал. А как поиссяк порох, мартвисцы сами к нему поворотились. Не стал Лексо правых с неправыми корить да мирить, обиды зазря множить.

«Деревня миром сильна, миром только она и врага усмирить, и друга приветить сумеет, а в одиночку даже еда не впрок. Страху поддаться — дело последнее, но и силой своей похвалиться сверх меры не следу-

ет. Сила нам не для мести да разбоя потребна, а чтоб оборониться от недруга кровавого. По мне отряды самозащиты нам сколотить надобно, и пусть каждый лепту свою внесет, как во времена стародавние — по мужчине с дыма. Никого невольить не стану, каждому воля вольная, но коли порешим что сообща, так тому и быть».

И что ты думаешь, первыми сыновья Фидуа поднялись все шестеро как один, мы, говорят, заместо погибших будем. Вот, значит, как повернулось все. А за ними, глянь, мужики мартвисские и потянулись хором — и Ясона, и Хвтисо, и Фидуа, все, одним словом. Крепко сшил Лексо лоскутки пестрые в одеяло одно большое — деревню прикрыть да согреть в пору ненастную. А как народ силу общую почуял, весь страх и повыветрился, и стоял, что туман рассветный, поди одолей теперь, коли сможешь. Ободрились пастухи да так, глядишь, и самим в пору с набегом разбойным сладить, а тут еще отряд охранный по очереди сменяется, чтоб врапслох не захватили невзначай.

Кабы прознали разбойники про то, может, и за ружейный выстрел к Мартвиси больше не подошли, хотя попробуй удержи волка, что в стадо ходить повадился. Вот и не удержались, явились, себе на беду. Восемь их было с ружьями да кинжалами, побаивались наших, видать, про старое помня, оберечься думали, да не убереглись. Взяли их, душегубов проклятых, без выстрела единого, даже сморгнуть не успели, а уже ногами-руками не двинуть, прямо к седлам собственным веревками и приторочили. За Лексо верхового послали. Приехал он вскоре, а с ним и все мужики, что в ту пору в деревне были. Одного из разбойников Лексо признал: это за ним он гнался, когда ему плечо перешибли. Как увидели мартвисцы ружья да кинжалы, в кучу сваленные, вконец озверели, рванулись к пленникам, чтоб стащить их с коней и затоптать на смерть. Кабы не охранный отряд, взявший разбойников в кольцо, не сносить бы им головы.

«Забить камнями псов бешеных, смерть душегубам!» — кричали мужики, от пленников отогнанные.

Лексо голову понура, плечом к плечу стоял с сыновьями Фидуа из отряда охранный. Увидев такое, мартвисцы кричать перестали, ждут, что Лексо скажет. Лексо голову поднял и на народ притихший глянул сумрачно.

«Крови мы не жаждем, мы покоя хотим. Ни с кем не воюем мы, мы жизнь свою защищаем и горбом нажитое. Чужого не возьмем, но и своего не отдадим. Предки наших врагов и убийц карали отсечением десницы неправедной. И мы поступим по закону предков».

Всколыхнулся народ мартвисский и назад отступил. Лишь Хвтисо, где стоял, там стоять и остался. А пленники, те ни живы ни мертвы на конях вскрапывающих сидят, к седлам собственным притороченные. И тут Хвтисо к народу повернулся:

«Чего жметесь друг к дружке, что овцы шелудивые, скачите лучше

за колодой да топором вострым, чтоб одна нога здесь — другая там, не век же тут стоймя стоять, zenки таращить...»

Опомнился народ, зашевелился, словно оторопь с себя скинул. Проворные самые к арбе со всех ног бросились, за колодой разогнались. Только-только арба за поворотом скрылась, глянь, тут же обратно вынырнула с колодой. Как только управились скоро так, ума не приложу, видать, во весь опор скакали до лавки мясника Арсена и обратно. А топоров сразу три привезли — один с коротким топорщиком, а два с длинными. Хвтисо каждый из топоров в руке взвесил да выбрал, какой потяжелей, верно.

Тем временем колоду с арбы на землю скинули и поставили возле самих ног Хвтисо. Хвтисо пару раз топором взмахнул, примериваясь, потом к колоде склонился, попробовал, прочно ли стоит. Колода качнулась. Хвтисо с земли камешек подобрал да под колоду подложил. И снова попробовал — колода не шелохнулась.

«Первого давай», — бросил Хвтисо и пальцем по лезвию топора провел.

Двое сыновей Фидуа, тяжело ступая, направились к пленнику, что был поближе, и завозились, веревку отвязывая. Потом подхватили на руки разбойника, что телом всем дергался, бросили к ногам Хвтисо да в сторону отошли.

«Не брыкайся ты, слышь, не то всю руку отхвачу». Хвтисо нагнулся к пленнику, поставил его на колени, высвободил из-под веревки руку правую, положил на колоду, сверху прижал.

«Да разожди ты кулак, легче будет», — буркнул он, но пальцы разбойника сжались еще крепче.

Хвтисо топор поднял и коротко по запястью рубанул. Кулак от руки отвалился комом, и пальцы разжались слегка. Хрипом народ дохнул и еще дальше от колоды отпрянул. Только Фидуа на месте остался. Потом шагнул он к пленнику, что стоял на коленях с лицом белым да глазами выкаченными на кулак свой, от руки отнятый, глядел. Крови чего-то не было, но Фидуа удавкой жгута для верности обрубок ему перехватил. Хвтисо, скривившись, кисть с колоды стряхнул, и та лягушкой о землю шмякнулась.

«Второго давай», — бросил Хвтисо и вытер рукавом лоб взмокший.

Двое сыновей Фидуа оттащили в сторону разбойника покаранного, а двое других второго с коня стащили. Силен был черт: пока до колоды его дотащили, дважды из рук вырывался, да куда денешься, коли спеленут, что младенец в люльке. И Хвтисо он долго не давался, пока тот топор над головой его не занес. И отрубил бы, как пить дать отрубил бы, как бы не обмяк разбойник тот чертов, что ветошь мокрая. Вторая кисть рядком с первой на землю шлепнулась, пальцы рассыпав.

Вскоре еще шесть возле первых двух легло, валяются на земле черной, что рукавицы, ненароком оброненные. Последний раз Хвтисо топо-

ром что есть сил взмахнул, крикнул яростно да всадил его в колоду по обух самый. Потом присел на корточки и ладони о землю вытер.

Переглянулся народ, Лексо глазами ищет, а того не видать нигде. Всколыхнулись мартвисцы, по сторонам озираются да тут Лексо и увидели. Стоит раскорякой, лбом к дереву прижавшись, и спина его ходунном ходит. Наизнанку повыворотило, сердечного, едва душа в теле держится.

Потемнели лицом мартвисцы, разом отвернулись, словно бы ничего и не видели. А Хвтисо между тем собрал с земли кисти те отсеченные, к лошадям подошел и по одной в сумы переметные сунул.

«Развязывай»,— зло, что камнем, бросил он в толпу притихшую.

Разломилась толпа, к пленникам бросилась, веревки теребят руками непослушными. Развязали кое-как да на ноги поставили. А те шатаются, словно пьяные, головой мотают, и одежда на них мокрым-мокра. К деревьям их прислонили, руками придерживают, чтобы обратно на землю не повалились.

«Пусть берут хурджины свои паршивые да уходят туда, откуда пришли»,— сказал Хвтисо, а сам внове к лошадям разбойничьим подошел.

Заржали лошади жалобно, задрожали телом всем, в сторону от Хвтисо прыгнули, да он за поводья их придержал. Сначала одну потрепал по холке тряской, потом другую, третью по морде мокрой погладил, та зубы оскалила, куснуть его норовя, да Хвтисо руку отвел.

«Тут лошади останутся, все, как одна, наши они теперь».

«Чужого нам не надо, лошади с ними уйдут, как и пришли»,— то Лексо сказал, трудно языком во рту горьком ворочая.

Хвтисо обернулся на голос нездешний, черной кровью лицо его налилось, дернулись губы, словно судорогой сведенные, да так ничего и не вымолвили. Рубанул Хвтисо воздух рукой сильной, как топором давеча, и через толпу хмурюю к коню своему двинулся. Вставил ногу в стремя, взлетел над конем коршуном и к деревне стрелой, из лука пущенной, помчался. Посадили мартвисцы разбойников в седла, поводья им в руки левые сунули и нахлестнули лошадей. Те помедлили, чуть ногами перебирая, и двинулись шагом. Один из разбойников лицом на холку лошади упал, обхватил ее за шею обрубком. Лошадь с шага сбилась, закружилась на месте, да, видать, успокоилась и пошла нагонять своих.

Мартвисцы с лицами каменными вслед лошадям глядели, пока те за поворотом не скрылись, унося всадников своих одноруких...

С той поры разбойники носа в Мартвисе не казали, за версту деревню нашу обходили, что место прокаженное, на аркане их сюда не затащишь, не то что овец наших угонят, гляди, своих еще пригонят за душу милую. Ну и нагнали, скажу я тебе, мартвисцы страху на отряды разбойничьи — только держись.

А тут еще молва людская. У молвы, известно, ноги порезвей лошади всякой резвой, мигом по свету белу промчалась, за дни считанные

весь, поди, обежала. Разбойник, он что, он к смерти привычен, она промысла его нечистого, считай, доля половинная — то ли с добычей вернешься, то ли головы лишишься. Коли удача выпадет, глянь, тебя еще и человеком почитать станут, чужого — оно ведь не пахнет — от твоего не отличат, горбом да десницей праведной нажитым сочтут, мало ли разбойников людьми добрыми сльвут. А коли отвернется удача — нет, так нет: мертвые, вестимо, сраму не имут. Но каково, посудика — век весь, тебе отпущенный, вором меченым, с обрубок вместо десницы проходить? То-то и оно. Вот ведь какие мудрые предки наши были, знали, как человека миловать и вора казнить. Да мы, вишь, все и позабыли вчистую, благо Лексо напомнил...

А Лексо нашего после дня того клятого лихорадка свалила, десять суток кряду трепала его нещадно, живым увидеть отчаяться впору. Мартвисцы те сами не свои ходят, места себе не находят, от дома лексовского ни на шаг не отходят. Про Шиолу-отшельника тут вспомнили — слава о нем шла, человека, мол, из мертвых воскресить может. Да вот беда, сколько мартвисцы помнили, ни разу еще Шиола из землянки своей, что в лесу Автандарианском, в деревню не выходил, на люди не показывался. Порешили миром к нему идти, в ноги кланяться, о помощи просить, а откажется — силком к Лексо доставить.

Поначалу Шиола отнекивался было, да как увидел, что за людьми в лесу деревьев не видать, на попятный пошел. Верхом Шиолу в деревню доставили и, прежде чем к Лексо пустить, так напугствовали: теперь вот покажи свою силу чудесную, всю, сколько есть в тебе, не то ни нам не жить, ни тебе головы не сносить, юридивому. То ли и впрямь Шиола чудотворцем был, то ли Марта — Мариам наша мартвисская тому вчной была, то ли упрямство мартвисцев, но не одолела Лексо лихорадка чертова, выдюжил, оклемался, на ноги встал нам на радость, врагам на горе.

Встать-то встал, да половина человека от него осталась, истощал — страсть, мощи одни наскрозь через него видно, одежда на нем, бледном, как на пугале в винограднике, болтается, а сам гнется, что былинка на ветру, глазам больно на такое глядеть, да мартвисцы не унывали: были бы кости целы, а мясо на них всегда нарастить можно.

Вот и стали наращивать — козьего молока у нас залейся было да жирного такого, что из кувшина с трудом выливается. Фидуа меду сотового принес, мертвого на ноги поставит, с маслом нашим благословенным мешали да Лексо пичкали. И что ты думаешь? Месяца не прошло, Лексо сам на себя похож стал — все при нем, и мясо, и цвет.

А как самим собой сделался, тут же принялся мартвисцам про коператив толковать, да поди втолкуй мужику нашенскому, что за дичь коператив тот самый да с чем его едят, коли спокон веку всяк сам по себе жить обвык, на себя и надеясь. Жилы все из себя тянут, чтобы грош какой завалиющий заработать, а зарабатывают, тут же в мутку на черный день пихают. И невдомек им, сердечным, что чернее их дня каждого и не бу-

дет на веку, ведь гробом да саваном мартвисцы только на свет, бывало, родятся, тут же и запасаются.

Долго Лексо с мужиками нашими бился, и так им втолковывал, и эдак, да только толку не добился. Другой бы на месте его давно бы рукой на них махнул, не стал бы возиться с темнотою упрямой, да ведь и Лексо, хоть и за тридевять земель уродился, все как-никак наш, кровей наших мартвисских, и упрямства ему не занимать стать. Нашла, словом одним, коса на камень.

А ведь задумка у Лексо и впрямь знатная была: что ни добудем трудом нашим — шерсть то или сыр, масло то или кожу, — сообща в руки первые сбывать, а не перекупщикам разным, что шмелями по осени в деревне шныряют да обдирают мартвисцев, словно баранов жертвенных. Выручим деньги, раздадим, кому что причитается, а после каждый на кон общий часть денег тех выложит и товар весь, что деревне потребен, сообща опять же из рук первых закупим и в лавке своей продавать станем на потребу общую. Под конец года, коли прибыль какая будет, меж собой поделим по тому, кто сколько поначалу выложил.

Дело вроде бы на взгляд первый выгодное, да и не дуже хитрое, но как к нему с непривычки подступиться: в премудрости купецкой мартвисцы не ахти как сильные были, да и хлопот, поди, потом не оберешься. То ли дело перекупщик, сам в дом придет, все купит да сам заберет и деньги сразу выложит. А то, что обирает да обдирает, так ему сам бог велел, ремесло его такое. И коли самому что купить по хозяйству да по дому требуется — тут тебе и лавка, тут тебе и духан, благо в Мартвисе их, что грибов после дождя, повыврастало — всячиной всякой торгуют, бери не хоч. Тут еще коробейников разных набезжит куча — мутаку всю, глядишь, и вытряхнешь. Хозяйство — дело такое, как ни держись за мутаку, коли нужда подступит, всю выпотрошишь, всего за раз не напаешься. А в город за мелочью каждой бегать себе дороже. Может, и загадаешь копейку какую, так в дороге поистратишь, да и хозяйству убыль от беготни той зряшной. Вот и выходит, что мужику в земле копать да на скотину живот класть надо, а купцу — торговать да мошну набивать, так бог велел, так тому и быть. Что тут скажешь? А Лексо сказал и сделал свое, перешиб-таки упрямство мартвисцев, да про то особый сказ.

Мужики наши обычай имели по дням воскресным в духанах деревенских собираться. Сойдутся, бывало, про жизнь поговорить, тяготы скинуть, беды свои на час-другой позабыть. И вино тогда рекой лилось — горечь горькую подслащало, жар души заливало, голову мутило, мозги оглушало. Тосты говорили, песни пели, а под пьяную руку, бывало, и друг дружку не жалели, бока мяли, носы квасили, зубы пересчитывали. Всяко бывало, вино ведь из одного веревки вьет, а из другого зверя лютото, что до поры внутри отсиживается, на волю выпускает, сладь с ним потом попробуй. Духанщикам — тем того только и надо, знай себе хелады с вином на стол таскают, порожние уносят, по новой приносят

да на счетах им счет ведут — успевай костяшками щелкать. И набегало тех хелад тогда видимо-невидимо, диву даешься, куда столько вина лилось-заливалось, а вместе с ним деньги, кровью-потом нажитые, плыли-уплывали. Духанчики в ту пору честным народом слыли — ни тебе костяшки лишней на прутики не нанижут, все честь честью. И впрямь ведь — не пойман не вор, да вот Лексо, видать, по-другому про то думал...

Раз, когда застолье в разгаре были и костяшки на счетах что вороны деревья обсели, Лексо неожиданно-негаданно в духане вдруг объявился. Сколько раз мужики, бывало, его с собой зазывали, ни в какую, а тут, глянь, сам пожаловал. Что тут началось! Мужики наши вмиг с лавок повскакали и, хоть хмель им туго языки заплел, наперебой Лексо за столы свои зазывать стали. Лексо, не чинясь, к ним и подсел. Не мешкая тут вино по чашам разлили да стоя за здоровье гостя ненаглядного осушили. Лексо благодарственную до дна выпил, и грянула «Мравалжемиер», да как грянула — громом в горах отозвалась, птиц с деревьев поддувала, зверье в лесах всполошила.

По новой разлили, всем не хватило. Тамада тут духанщика кличет, забирай, мол, хелады порожние да неси побыстрее полные. Дважды духанщика звать не пришлось, мигом хелады со стола собрали да только уходить повернулся, Лексо перед ним вырос, давай, говорит, сюда хелады свои, подсобить охота. Зашумели мужики, где, дескать, видано такое, чтоб гость дорогой вино таскал, а духанщик побелел, что холст беленый, но хелады, приметь, из рук не выпускает, вцепился так, хоть прямо с хеладами его и бери. Да Лексо наш не лыком шит, отобрал-таки хелады, духанщик даже пикнуть не посмел. Тут-то все и началось. Лексо сначала одну хеладу высоко поднял да как грохнет оземь, потом вторую на черепки разнес, а там и все остальные. Ох, и буйный, видать, во хмелю норов, мужики наши аж рты поразевали, с кем такого не бывало, но не от одной ведь чаши же.

А Лексо на короточки присел, черепки разбирает. Глянь, чудную такую чашу восковую с земли подобрал да на стол положил, за ней вторую и еще, и еще. Мужики наши тверезыми сделались, на диво дивное глядячи. И впрямь, откуда только на земле чаш столько восковых взялось? А все просто на поверку вышло, да поди и додумайся до такого, чтоб хелады внутри воском выкладывать. Каков поддец, духанщик тот, а? Поначалу, пока застолье раскрутится, бывало, он вино в хеладах обычных подносит, а как хмель у кутил ум отшибет, в тех, что воском выложены, таскает. С пьяных глаз и не разберешь, что тут к чему, не бить же хелады в самом деле, как Лексо наш. В хеладу обычную три литра вина вмещается, а в ту, что с воском, и два не войдет. Вот и считай теперь прибыль духанщику, хоть с костяшками, хоть без.

На что уж мужики наши не в ладах со счетом были, мигом смекнули все да из-за стола поднялись. Духанщик тот на колени, что бурдюк порожний, бухнулся, бес-де попутал, не губите, родимые, душу христи-

анскую. Да не сносить бы ему головы хитрющей, надувателю окаянному, кабы не Лексо. Как хелады давеча из рук духанщика, так он самого духанщика обомлевшего из рук мужиков наших вырвал да собой засло-нил. А мужикам нашим вовсе не вина недовыпитого жаль и не то обидно, что облапошили их за здорово живешь, а то, что духанщика человеком почитали, за здоровье его пили, братом звали да к груди спьяну прижимали.

Тем дело не кончилось — по всем мартвисским духанам Лексо прошелся, что гроза господня, а мужики за ним гурьбой, как на приязи. В духане каждом вино мерили, хелады с воском на черепки разносили, страх на обирал наводили. Духанщиков всех из Мартвиси, что затычки из бочек, повышибали и дорогу назад заказали, мол, чтоб духу тут вашего смрадного не было. И купцам-перекупщикам с лавочниками грозят: погодите, мол, у нас, и ваш черед настанет, и до вас доберемся, аршины все перемеряем и меры ваши до золотника малого обмерим. Лавочники все попрятались, лавки на засовы, ставни позакрывали, дрожмя дрожат, видно, и у них рыльце в пушку было. Да и кому, спрашивается, охота с Лексо вязаться, не темнота, поди, деревенская, на мякине не проведешь, вишь, как народ замутил, сожжет еще, чего доброго. Так и сидели — хоронились в подполах да амбарах, что мыши пережидали, когда грозу пронесет или туча в дождик выдождится.

Вот тут-то Лексо про коператив тот по новой речь и завел. И что ты думаешь? Пронял, переупрямил-таки упрямец несговорчивых, к стенке припер да мутки вытрясти принудил. Ох, и неохотно мужики наши с нажитым в трудах тяжелых расставались, зубами скрипели, что колеса арбы несмазанные, с кровью деньги те от рук отрывали, скрепя сердце к Лексо несли. Да что тут поделаешь, куда ни кинь, везде клин, а тут авось и повезет еще, не враг же в самом-то деле Лексо землякам своим единокровным...

И закрутилась-завертелась жизнь наша, словно жернова мельничные, когда вода буйная по весне в колесо ударит. Лавку каменную, самую большую в деревне нашей, мужики у купца, что в город со страху подался, откупили. Миром всем починили, известкой побелили, с задней стороны склады пристроили, чтоб не хуже, нежели в городе, были. Лексо мужиков, что пограмотней других были, счету премудрому, бухгалтерскому учил да и выучил: как заправские купцы-духанщики ко-стяшками щелкают, аж в глазах, бывало, рябит. А как время пришло, Лексо с Мартой на ярмарку за тридевять земель собрались, товару для лавки купить-привезти. Вся деревня их в путь неблизкий провожала, не только бабы, мужики иные нет-нет слезу втихомолку сглатывали.

И стали ждать-дожидаться, дни считать, ночи без сна коротать, да и было отчего. Погань разная — духанщики да лавочники деревенские, которых Лексо не у дел оставил, яд в уши мужикам капали, души травил толками разными, мол, плакали денежки ваши кровные, они, родимые, Лексо и нужны были, а как добился своего, только его и видели,

ищи-свищи теперь по белу свету. Ярились мужики, мертвым боем гадок тех шипящих бивали, а сами темнее тучи ходят. Соберутся, бывало, в лавке пустой — и то сказать, миром всем полегче как-то тревогу-тоску развеивать — да толкуют о том о сем, бодрятся, хорохорятся, Лексо хваливают, а как останутся поодиночке, зубами скрипят, сердце упавшее руками придерживают, маются.

Трижды Мартвиси Лексо дожидался: впервой, когда он с разбойниками схватился и с рукой перешибленной душу живу едва до деревни донес, по второму разу, когда он в городе отлеживался и одному богу было ведомо, вернется он к нам или нет, и теперь вот по третьему. И третий раз тяжким самым и смутным выдался. Нет, не по деньгам тем окаянным мартвисцы горевали-убивались, нет, деньги те, хоть какие — грязь на руках, а вот каково по-новой без Лексо остаться! Не мог Лексо не вернуться, не мог оставить земляков своих горьких во мраке мрачном, не такой он человек, чтоб поманить жизнью лучшей да бросить.

А все сроки меж тем вчистую вышли. Может, разбойники на Лексо с Мартой напали и в отместку за кару страшную жизни лишили? А может, чего доброго, пароход перевернулся да в море утонул, люди сказывают, бури там такие бываюот, пароходы, что щепки малые, швыряет да на дно самое уволокивает! А ведь и такое могло стрястись, что паровоз с пути сошел да все, кто внутри был, насмерть побились?

Гаданиям тем ни конца ни краю было не видать, и камень тяжелее прежнего на сердце ложился. Теперь только и поняли мартвисцы сполна, в какой дальний да опасный путь Лексо с Мартой ради них пустились. И горели-оплывали в Апарани свечи, во здравие Лексо с Мартой возженные...

А кончилось все в день один ненастный, когда дождь частый на Мартвисе сеялся с неба низкого в тучах обложных. Грохот громовой вдруг по деревне прокатился, а молнии не видать было. И катился гром тот не по небу тихому, а по проселку деревенскому, рос-нарастал, и земля от него содрогалась. Мартвисцы в страхе великом из домов повывскакивали, кто с ружьем, кто с дубьем, а кто с детьми малыми на руках непослушных. Гремит гром, трясется земля, а причины тому нет как нет. И тут на проселок арба выкатилась, чудная такая, высоченная, лошадами запряженная, крышей крытая. За ней другая, третья, и несть числа им было. Катятся и катятся на колесах, железом обитых, и гром от них в горах отзывается. Поворотились арбы у мостка алихевского да к лавке нашей загрохотали.

И тут открылось небо над Мартвисе нашим. «Они, они, ей-богу, они!» — крикнул кто-то, и грянул тут крик, да такой, что грохота того не слышно стало, проглотил его крик мартвисцев, что кролика удав. И побежал тогда народ, дороги не разбирая, да так, что грязь из-под ног топчущих в лица полетела. Бегут, руками машут, шапки на бегу с голов сдирают. Арбы те возле лавки сгрудились, в кольцо ее взяли, запрудили,

подойти-пробраться неоткуда, а все грохочут и грохочут, конца не видеть.

И тут у моста алихевского фазтон показался, совсем как тот, в котором Лексо после болезни из города приехал. Застыл-замолк народ на бегу, что вкопанный, не знает, куда бежать — к лавке, к фазтону ли. А фазтон сам к мартвисцам покатил, и Лексо, живой, здоровый, прямо в грязь и соскочил в ботинках лаковых. Улыбается Лексо, говорит что-то, да как разберешь за грохотом тем аробным. А мартвисцы шапки в руках теребят, во все глаза на Лексо смотрят, смигнуть боятся, чтобы не исчез ненароком. Дождь разошелся да плетями долгими как вытянет их по спиnam, словно сек за сумление зряшное.

Что пчельник Фидуа в легнюю пору, гудел наш Мартвиси. Пчелами в леток улья влетали мартвисцы в настежь распахнутые двери лавки со взятком богатым — сундуки да короба со всячиной всякой в восемь рук несли бережно, чтоб не разбить ненароком. И лавка не лавка была уже, а «Дом-коператив» Мартвиси» — так аршинными буквами Иосеба-кузнец на доске медной выбил да гвоздями стали булатной к стене прибил навечно. Так оно и было. Кто грамоте не обучен, и те, на доску глядя, буквам выучились.

Толки пошли, нет, мол, на свете белом товару, что в коперативе нашем не отыщется. А размещали да раскладывали товар тот цельных десять дней долгих. Извелись мартвисцы дожидаячися, вечерами вокруг да около коператива гурьбой похаживали, но близко не подходили, Лексо совестились. А как день великий настал, приделелись, словно на пасху, кто во что горазд, потекли чинно, ни дать ни взять, ход крестный. И в двери лавки, что в храм божий, вступали, шапки ломали, крестным знамением себя осеняли. Товару в лавке и впрямь без счету было, глазам разбежаться в пору, а красный, а чудной — не наглядеться.

«И все это наше?» — Лексо спрашивают.

«Чье же еще?» — Лексо в ответ.

«И домой взять можно?»

«А как же, затем он тут и лежит, вас дожидается!»

«Выходит, все, что душе угодно, взять можно?»

«Берите, бога ради. Како, Гиги, Андро скажут, сколько за что платить надо. Вы им деньги, они вам товар!»

«Деньги? А деньги-то еще зачем, и без того небось наше все, на деньги наши и куплено?»

«Оно-то так, да ведь коператив у нас. Коли за так заберете, по новой придется деньги собирать, чтобы товару нового купить, так ведь? Лавочнику-то вы за все деньги платили?»

«Так-то лавочник, а тут коператив, наше все вроде?»

«Ваше, ваше, чье же еще, да у торговли свои порядки, вы друг дружке деньги ссужаете, товар для всех покупаете, а за них долю своего дохода получаете. Это как если бы вы сообща несущку купили — яйца, что она несет, доход ваш, а коли несущку зарежете да съедите, кто тогда

вам яйца нести станет? Хочешь курятины — купи да ешь на здоровье, а несущую общую не трожь!»

Приздумались тут мужики наши крепко. Оно-то вроде и так, да и не так как-то, и товар вроде наш, а за него же еще и деньги платить. Концы с концами не сходятся, вот тебе и кооператив, не зря, видать, душа у нас к нему не лежала. Да что тут поделаешь, поглядим, как дальше-то пойдет, коли взялся за гуж, не говори, что не дюж, не то засмеют еще, чего доброго.

Туго поначалу торговля шла, мужики все приглядывались да присматривались, как бы впросак не попасть. А как чужие про кооператив наш проведали да наезжать стали, к товару присматриваться красному, тут-то мартвисцы и зашевелились маленько. А как на рождество доход подсчитали да на всех поделили, и вовсе повеселели, денег брать не пожелали, весь товар, что в лавке непроданным остался, в счет дохода до-мой забрали.

Погляди-ка, вишь, тарелки эти? С того времени они у меня и остались да ложки тоже. Да что ложки, лопаты те видишь две? Сорок, почитай, черенков я на каждой сменил, а им все сносу нет. И они, родимые, из кооператива нашего! Так вот. А видел бы ты, как бабы наши да мы, мальцы, добро то по домам несли, к себе прижимая крепко-накрепко!

Да что кооператив! И не такое еще Лексо затеял, сказать — не пове-ришь. Мужикам, что, окромя посоха пастушьего, косы да вил, ничего в руках не держали, перья крохотные в пальцы вложил, за стол засадишь, грамоте да счету учить принялся. И ведь выучил, да так, что без Лексо, почитай, в кооперативе управляют и за товаром новым сами на ярмарку, не за тридевять, правда, земель, ездить стали, вокруг пальца, как прежде бывало, не обведешь уже, не зря ведь в грамоте поднаторели.

Мужики мужиками, а как тут Лексо за нас, за мальцов, взялся — только держись. Брат наш с малых лет в подпасах ходил, овечью повадку с молоком материнским всасывал, не до грамоты, поди, коли за день набегаешься так, рук-ног к ночи не соберешь. А Лексо все школа да школа, отродясь тут ее у нас не бывало, да и быть не могло, не до жиру, живу бы остаться. Мужики, те на дыбы встали, что кони, волка почувявшие: овец, мол, считать — грамота не требуется, без нее живали и впредь проживем, десятка мужиков грамотных с лихвой на деревню хватит, не то с отарой ходить некому станет, наплачемся еще с грамоте-ями теми. Уперлись — не сдвинешь, хоть кол на голове теши. Лексо с мужиками тягаться не стал, а тех, что посговорчивей — кооперативщи-ков все больше, — подбил дом заброшенный — стены три только и стоя-ли — под школу приспособить. Построим, мол, а там видно будет.

И что ты думаешь, построил-таки — стену недостающую возвели, черепицей покрыли, полы настелили, крыльцо большое пристроили — вот тебе и школа. Она и нынче стоит, как и была, та, что к башне крепостной лепится, мастерская там теперь столярная. А как построили,

Лексо в город съездил, учителя привез, паренька долговязого, узкого, что жердь, мослы одни да глаза в бороде. Марта в помошники к нему пошла, и стали учеников дожидаться. В первый год полтора десятка на всю деревню наскреблось, слабосильные да увечные, те, что ни к какому делу не приспособить. Охочи до грамоты оказались, страсть, книжек из рук не выпускали, потом и в городе учились, крепко грамотные сделались, помнишь Како — директора школы нашей большой, три года, как помер, бедняга, так вот, как был, он из тех был...

А осенью глубокой, на зиму глядя, Лексо с мужиками все, деревней наработанное, нажитое, в город обозом на продажу повезли, перекупщиков с носом оставили. Ох, и обозлились же они, скажу я тебе. Лексо первые руки отыскал, все на корню и забрали. И что ты думаешь, вдвое противу прежнего доход вышел. Благословляли мужики наши Лексо, а тот улыбається хитро, дайте срок, говорит, и не так еще наторгуюм, коли миром всем держаться будем, и враг нам нипочем.

А врагов у деревни вон сколько оказалось, хоронились до поры, внюхивали, дожидались, куда ветер повернет-подует. Лавочник, духанщик да перекупщик — народ битый да дошлый, блоху на лету обдерет, не притомится. В горле у всех Лексо с коперативом тем да школой костько застрял — проглотить невмочь; видят, деревня за него стеной каменной стоит, так давай в стене той щели искать, авось отыщутся.

И отыскали ведь проклятые. Как, спросишь? А просто, да нам ни в жисть до такого не додуматься. Однажды, глянть, слух по деревне прокатился, что в лавках деревенских товар в полцены противу коператива нашего продается. Мужики на веру слух тот не взяли, баб на проверку послали. Вернулись те, сияют аж, что медный грош на солнце, и впрямь, говорят, в полцены. Теперь мужиков четверых, что поголовастей, в поход снарядили. Все до одной лавки обошли, с тем же вернулись, в полцены, говорят, и все тут. Наши к Лексо, так, мол, и так, с чего бы это вдруг: засовестились, никак, немало кровушки нашей попили, да не впрок, видать, пошла.

Заслышав про то, Лексо черней тучи сделался, это, говорит, они коператив наш со свету сжить надумали, а как сживут — втридорога все продавать станут, голыми руками нас возьмут. Ну и ну, дивились мужики хитрости такой хитрой, кабы не Лексо, все разом бы в силки те и попались, поди попробуй выберись потом.

«Плетью обух перешибить вздумали, семя проклятое купецкое, с панталыку нас сбить, себя же своими руками и придушить — выкуси, не лыком небось шиты, нам яму рыли — как бы самим в ней подыхать не пришлось».

Сильна деревня да и пестра тоже — на всех узды не напасешься, падки иные на приманку крысиную ту оказались: соблазн-то велик, исподтишка по лавкам шныряют, землю носом перед лавчонками роют, тень на плетень наводят. Да, народ наш начеку был: кого за живое задели, кого батоном попотчевали, кого усовестили, а кто заартачился — из де-

ревни погнать пригрозили. Мужья женам, матери детям, старые молодым строго-настрого наказали: коли надумаешь, мол, купить чего, в коператив иди, нет товару, перебежся, но в лавку ни ногой.

И что ты думаешь, проняль-таки. Лавки те за версту обходили, чтоб бес ненароком не попутал; коробейников, что с лавочниками заодно были, взашей из деревни погнали. Вот и вышло, что все тропы к лавкам травой позарастали, а к коперативу нашему дорога прямоезжая, народом деревенским натопанная.

Возликовал тут народ, силу свою праздную, в роги затрубил, в барабаны ударил — в дым нас обратить хотели, а сами же в трубу сажей черной и вылетели. Оно-то так, да рано, видать, мартвисцы победу ту праздновали. Отогнали, кажись, от стада волка матерого, а он, глядишь, овцу лучшую, лелеянную и прирезал. Так и с нами случилось — врага-то отогнали лютого, да вот Лексо нашего не уберегли.

Раз из города он вернулся да прилег с устатку на тахту в саду своем. А как вышла Марта к ужину по оклику, видит, лежит Лексо весь в крови, и рана в горле от уха до уха зияет.

Что тут с Мартвисы сделалось — ни языком то рассказать, ни пером описать. Одно скажу, обуглился народ, испепелился, словно жизнь вся из него ушла — слепая ярость да горе мартвисцев рассудка лишили.

«Кто?!» — надрывалась в крике деревня.

«Кто?!» — саднили горло горы, да не было на вопрос тот ответа.

Кто был тот богом проклятый убийца, что руку на основу и надежду деревни поднял, кто подрубил матицу, на которой сила и общность Мартвисы держались? О том, верно, лишь тьма да ветер знали, но и те язык проглотили со страху.

В дела свои полицию деревня, бывало, вовек не мешала, но теперь и полицию на помощь призвала. Да что полиция, сердце у нее не болит, покрутилась, повертелась для виду и руки развела, ищите, мол, среди своих, вам-то лучше знать, кто на что горазд.

От слов таких народ вконец озверел, на каждого с недоверием косятся, слово каждое, невпопад брошенное взвешивают, наизнанку выворачивают, золу обид давних кочергой ворошат. Кабы не Марта, беды не миновать, друг на друга войной бы пошли, свели бы деревню со свету белого, поминай потом, как звали. Одна только Марта, страдальца наша, голову не потеряла, стоит, как стояла, светом ровным светится.

«Не тот убийца, кто Лексо убил, а тот, кто Мартвисы жизни лишит. Вырвите из сердца недоверие друг к другу, живите миром, как Лексо того хотел, вот и Лексо жив будет».

Устыдился тут народ злобы своей неразумной, опомнился, пред мудростью вдовы горькой колени преклонил. И схоронили Лексо на горе высокой, что веками на Мартвисы глядит недреманно, помянули его по обычаю дедовскому, шапки надели, жить продолжали.

Не ушла Марта из деревни нашей, на гору ту каждый день воскресный зимой и летом хаживала, детей мартвисских грамоте учила, с ми-

ром деревенским душа в душу жила. А как война мировая, первая которая, началась, урядник с казаками в деревню нагрянули, за Мартой нашей явились, тебя, мол, указом государевым как подданную германскую в двадцать четыре часа из Мартвиси выдворить да в город доставить велено. Взроптал тут народ наш страшно, удержу на него нет, урядника с казаками гоним волчьим из деревни погнал, клич бросил по мужчине с дыма собраться с оружием на площади деревенской да стготовиться оборону круговую держать, коли казаки в Мартвиси сунуться посмеют. Порешили стоять насмерть, всем полечь, а Марту не выдавать. Она, мол, кровь от крови, плоть от плоти нашей, не германской, что же до указа государева, то нам до него дела нет и не будет.

Низко Марта народу мартвисскому поклонилась, на гору к Лексо взошла, на деревню нашу сверху глянула — оттуда она, благословенная, что на ладони видна, да там и осталась, дух, сердечная, испустила, камень, что на груди лексовской лежал, руками обхватив крепко. Мартвисцев от гибели неминучей спасла и сама из Мартвиси не ушла...

Схоронили Марту с Лексо рядышком, опамятоваться с горя порядком не успели, как слух тронулся, что убийцы Лексо нашего обнаружили — двое их, выродков продажных, оказалось, и, что ты думаешь, из наших, мартвисских. Что тут началось, и немудрено; народ надежду уже всякую утерял, да и на что, спрашивается, надеяться-то было, коли, почитай, два года минуло, а убийцы и след простыл, как сквозь землю провалился. Так бы тому и быть, верно, да случай, спасибо ему, помог. Рассказать — ни в жисть не поверишь.

А дело так было. В Норисхеви, что неподалеку от Мартвиси нашего, пастух один жил — Басой звался. Раз к нему староста с казаками завялся недоимку взимать. Не было у Басы денег в ту пору, поиздержался малость, с того и просил у гостей незваных отсрочку, да те ни в какую: давай, мол, и все тут. Баса их тогда до завтра повременить попросил, кровь из носу, мол, а достану. Казаки Басу в угол отшвырнули и ну приданое жены его на арбу грузить. Все подчистую забрали — недоимка-то рублей двадцать, а они, почитай, на все двести добра забрали. Баса мужик гневливый, не приведи господи под руку горячую ему попасться — прибьет. Вот и схватил он топор да на казаков бросился. Тех трое было и все с ружьями, да поди удержи пастуха, удила закусившего. Первого ударом обуха с ног свалил, кабы не папаха, отпевать бы пришлось, второго по ружью хватил, приклад один в руках у того остался, третий на лошадь вскочить успел, да Баса из седла его вынул, на землю уложил. Подмогу тут староста от соседей привел — спеленали Басу, не шелохнется. Два дня с него стружку в холодной деревенской снимали, а как разделали порядком, в уездную тюрьму отправили — казак верхом, Баса с веревкой на шее да с руками крепко-накрепко связанными пехом за ним вышагивает — так в ту пору нашего брата на путь праведный наста-вляли.

По дороге ветер буйный поднялся, да и сдул с головы у Басы шапку войлочную. Кричал Баса казаку, чтоб остановился, шапку подобрал, да казак как дернет за веревку — бегом Баса за ним побежал, не до шапки небось, коли одеть ее не на что будет. Так шапку ту коперативщики наши, что следом в город ехали, с земли подобрали, а из-за околыша возьми да и выподи бумажка. Три слова на ней всего-то и было: «Про германца молчок».

Да только прочитали наши, давай в опор весь за Басой. Нагнали. Теперь казака уговорить попробуй, чтоб назад повернул, да тот уперся, что ишак у брода. Наши ему деньги — ни в какую, тогда местами с ним и пришлось поменяться — казака несговорчивого с Басой в арбу, а Гиги верхом поскакал, не оставлять же лошадь казенную в поле, украдут еще, чего доброго. По дороге Басу за горло взяли, откуда у тебя бумажка та в шапке оказалась, кто дал да для кого передал. Басу на испуг просто так не возьмешь, коли не схочет, с языком из него не вырвешь, но тут дело другое, знал он мужиков наших и уважение к ним имел, вот и выложил все без оглядки, что да к чему: в холодной, мол, со мной мартвисец сидел молодой, да, видать, бедовый, упросил бумажку дружку отдать, что в тюрьме уездной сидел — не отдашь, говорит, головы лишишься, вот и согласился я, ведь и мне не слаще. С грамотой Баса не в ладах был, с того и не читал, что в бумажке написано, да и знай он читать, все не стал бы в дела чужие нос совать.

Приехали к уряднику, казака и Басу с рук на руки ему сдали да про бумажку сказали. Урядник побушевал маленько, холодной пригрозил, да как про Лексо услышал, Басу за грудки ухватил, сгною, мол, в тюрьме, а мартвисцам ждать велел, как разберусь — узнаете-де. Да мартвисцы и думать про то, чтоб уйти, не думают, выдай нам, говорят, овцу нашу паршивую, мы сами с ней разберемся, а ты лучше о второй позаботься, сроку два дня даем, не сделаешь — на себя пеняй. Уряднику слово мартвисцев, что нагайка промеж глаз, свяжешься с ними, думает, крови прольется река да и начальство за такое небось по голове не погладит. Выдал соседа Басинога, а второго к сроку доставить обещался.

Исполнил урядник, что обещал, а как, мартвисцы про то не спрашивали — оба-двое в деревню родную пришли не по воле доброй, силой приволокли да на землю бросили. На суд мирской Мартвиси сошелся весь в ложбине реки Алихеви иссохшей — кто сам ходить мог, сам пришел, а мальцов да увечных на руках принесли...

Лежали на земле выродки те, голову не поднимали, на народ не глядели, оправдаться не тщились, вину на других не валили. Спящему, силели, горло перерезали, один грудью на Лексо навалился, другой ножом от уха к уху полоснул, и хоть бы по злобе — за серебряники жалкис, с глазами открытыми покойника оставили, а деревне очи, что железом каленым, выжгли.

Народ тих да сумрачен был — выходит, Мартвиси сам Лексо и убил, руками своими надежду свою прирезал. Не двое ублюдков в грязи и в

прахе корчились, а вся темнота наша, трусость, предательство, зависть и злоба скорпионом елозили, змеей извивались, себя же куснуть-ужалить норовя.

«Забить, забить, забить», — захрипел, застенал, завопил, завизжал, завыл, зашелся тут народ, горечь да желчь из себя выхаркивая, семя свое кланя-проклиная, кары страшной себе требуя.

«Забить, забить, забить!» — изрыгали горы, кричали камни, взывала земля, трубила трава. И руки сами к камням потянулись, за ребра крепкие ухватились, пальцами сжали, с земли подняли, плевками утяжелили да в предателей метнули.

По земле катались выродки те, ногти срывали, зубы крошили, в землю вгрызались: вжаться, спастись, схорониться. Да не раскрылась земля, не приняла, не укрыла. А камни разили, камни били, камни сминали, под собой хоронили. И выросли вмиг горы две каменные, крутые, камень на камне, камень на камне, камень на камне...

А народ руки отряхнул, спиной к горам тем повернулся и прочь пошел, не оглядываясь. Мрак да тишь упали на Мартвиси наш, затопили его, что реки четыре в половодье весеннее.

Да недолго тишь та стояла — шакалий вой да вороний грай ее вспороли: вокруг гор тех каменных шакалы рыскали, а над горами теми крутыми вороны крыльями хлопали... И недолго мрак тот стоял — факелы да свечи витые его вспороли: народ мартвисский из домов вышел да к горе высокой, что над Мартвиси в тумане низко купалась, ходом крестным пошел. Шли оступаясь, друг за дружку держась, дорогу себе освещая. Камни из-под ног сыпались, кустарник трещал, птицы вспархивали. Реками четырьмя взбаламученными обтекали мартвисцы камни святые, что на груди Лексо да Марты покоились, и стало светло так вокруг, словно солнце, тучами сглотанное, из плена вырвалось, чтобы Мартвиси, внизу таившийся, из мрака выхватить.

И потек народ обратно реками светлыми, чистыми, словно муть, тина да грязь на дно осели...

Крепко-покойно уснули мартвисцы в ночь ту темную, и сон привиделся один на всех: будто сокол крылатый летал над Мартвиси, снижаясь кругами, и крыльями крепкими гнал воронье от гор тех каменных. Проснулись наутро и все, как один, к ложбине двинулись, а там две горы каменные крутые, как стояли, так и стоят. Подошли к ним мартвисцы со всех сторон и стали камень за камнем горы те разбирать, на нет сводить. Гору одну разобрали, на нет свели да все, что от выродка первого осталось, в овраг сбросили шакалам да воронью на поживу. А как до подножья второй добрались, вдруг стон глухой послышался. Отпрянули мартвисцы да прислушались, почудилось небось, не мог тут никто стонать, некому вроде. Стон повторился — хриплый, замогильный. Вспомнили тут мартвисцы про сон давешний, в руку, видать, вещей никак. И только ряд камней убрали, видят, шевельнулся выродок второй. Как-то он жив остался, камнями забитый да горой каменной придавленный, до

сих пор ума не приложу, а ведь остался. Руками погаными, кровью Лексо нашего замаранными, голову прикрыл, сиднем сидел, хребет уберег.

«Добить его!» — крик тут рванулся, да старики руками замахали, грех, мол, се великий, казнь единожды бывает, второй не быть, так природой да богом велено, знак в том, видать, свыше явленный, жить ему недобитком да позор свой, что жернов, на спине таскать, чтоб смерть желанней той жизни казалась.

Стих народ, сердцем всем правоту ту высокую слов мудрых принял и ушел без оглядки. Отец родной да братья недобитка того, что Бедией до поры сей звался, с народом со всем ушли. Камней вчера на урода не пожалели да и нынче знать не пожалели — отрубили-отрезали, что палец сгнивший. Сказывали потом, что Шиола-отшельник недобитка выходил, на ноги поставил да на жизнь обрек...

Всех недобиток пережил, кто камнями его забивал, да не добил. И немудрено. Две войны большие да три малые мартвисцев призывали да многих прибрали. А недобиток нежитью жил, от мира отрезанный, беды людские и радости обминули его, да и как не обминуть, коли он, что клин клином выбитый, из племени людского вылетел и в чащобе затерялся.

А ведь не ушел он из деревни, не бежал от позора своего, на отшибе, людьми и богом покинутый жил, а не ушел. Не гнали его мартвисцы, потому как мертв был для деревни и даже хуже, нежели мертвый — покойника, поди, поминают словом добрым, на пасху хотя бы, а про недобитка забывали Мартвиси начисто, слово не числился он ни в живых, ни в мертвых и даже не рождался на свет божий.

Отчего же не ушел, спросишь ты, недобиток тот из деревни нашей? Слышал я подростком, что любился он с девушкой нашей мартвисской, когда еще Бедией звался. А как прознала девушка та про грех его страшный, чуть руки на себя не наложила. Пришел, сказывали, он к ней недобитком уже, молил уйти с ним, куда глаза глядят, да девушка прогнала его со двора, мол, сгинь с глаз моих, кабы была я тогда в себе, не миновать тебе камня моего, может, и добил бы он тебя, недобитка проклятого.

Ан не ушел он, на прощенье односельчан да на память короткую людскую, верно, уповал-надеялся. Да просчитался, окаянный, не простил его народ наш, и девушка та его не простила. Замуж вышла за человека хорошего, детей ему четверых родила, да голову сложил, бедняга, на войне Отечественной, детей осиротил, жену вдовой оставил.

Вот тогда, сказывали, по второму разу пришел к ней недобиток, детям твоим малым отца, говорит, замену и тебя любить-лелеять буду.

Тяжела-окаянна доля вдовья, попробуй четырех вырастить, на ноги поставить, да не предала Мартвиси вдова наша горькая, что и впервой, прогнала недобитка вон со двора, не дожدهшься, мол, чтобы чада солдатские недобитка отцом кликали.

С тем и ушел, несолоно хлебавши, да все в деревне остался...

А как сдох он, про то уж я тебе сказывал...

Девятый десяток через два года пойдет мне, глаза слабы сделались и руки работать отказываются, наработались да отработались, болят, хоть отсекай. И память слаба стала, поверишь, аж до того дошло: утром, после ночи бессонной, имя свое забываю, кабы не окликали, вчистую б забыл, как звали-то.

Да вот про Лексо нашего даже то помню, чего сам не видал. Ночь, бывало, песню про себя напеваю, что народ наш о Лексо сложил. Тебе не спую, не испортить как бы, услышишь еще небось, как в деревне нашей на свадьбах ее поют...

ИЗ «МАРТВИССКИХ РАССКАЗОВ»

ХВТИСО

Баран висел вниз головой, подвешенный к кривому суку мощного разлапистого дуба, скупо цедящего сквозь густую листву жидкий свет полуденного солнца, висел выгнувшись, вытянувшись всем телом в свалывшей желтоватой шерсти. Дело было уже сделано — из черно-багрового надреза на нежной молочной коже горла стекали последние тяжелые, свернувшиеся капли крови, поднимая невысокие красные фонтанчики на ржавой лоснящейся поверхности крови, уже отцеженной в ведро. Хвтисо, отведя в сторону запачканную кровью жертвенного барана руку с ножом, ждал. Синюшное его лицо было скорбно, словно он впервые обагрив руки в крови, словно сетует на судьбу, выбравшую для свершения несправедного дела именно его, Хвтисо. Но скорбь Хвтисо относилась скорее к суете и тщете жизни и коварству мира, нежели к свершенному делу. Тысячи баранов выхаркнули свою чистую душу из мягких морщинистых губ, повинувшись движению руки Хвтисо. Но умелая рука эта жила отдельно от своего хозяина, виноватого лишь в своем умении. Grimаса судьбы, да и только. Пастух Хвтисо, перетаскавший на своем кряжистом горбу миллионы ягнят, овцематок и круторогих баранов, бывший им и отцом, и лекарем, и спасителем, не раз оказывавшийся перед выбором между своей и бараньей жизнью и всегда предпочитавший эту самую баранью жизнь своей человеческой, к великому для себя несчастью, лучше любого другого умел еще и свежевать барана. Вот и звали его, кому не лень — еще бы, кому, спрашивается, охота мариновать руки в крови, пусть даже бараньей. Хвтисо покорно садился в машину, а в ногах у него копошился, протяжно блеял, поводя плоскими глазами, баран, еще не ведавший своей доли, но уже грустный, с душой, ушедшей в тонкие неверные ноги к самим копытцам. Хвтисо клал ему руку на загривок, и душа барана вновь возвращалась на свое обычное ме-

сто к мягкому, беззащитному горлу, потому что баран доверялся Хвтисо, его руке, по которой в трепещущее от предчувствия смерти тело перетекала любовь. Тело барана умиротворенно замирало, а дрожь его перетекала теперь в руку Хвтисо, и рука начинала предательски дрожать, ибо Хвтисо и был предателем бараньего рода и племени. Гримаса судьбы, злой, насмешливой судьбы, делавшей Хвтисо перевертышем, оборотнем. И дрожала рука все время, пока машина вираж за виражом, стежка за стежкой, поворот за поворотом взбиралась к лобному бараньему месту в ограде чудотворного монастыря святого Антония, все время, пока не бралась она за заскорузлый черенок ножа с широким обоюдоострым лезвием. Потрясенный вероломством Хвтисо, баран не успевал, бывало, даже выблеть свою горькую укоризну, как ласковая рука пастуха, оснащенная молнией ножа, выпускала из туго стянутой ребрами жирной бараньей туши легкую, невесомую душу, мгновенно рассеивавшуюся в густо настоящем на дурманящих травах воздухе святых мест. И сморщенная, потерявшая округлость комковатая баранья шуба глухо шлепалась оземь у подножия полуторатысячелетнего дуба, желудями которого, по преданию, питался святой человек, запросто приручавший ланей, поивших его своим животворным молоком. Бараньи внутренности согласно покидали осиротевшую, нагую тушу, чтобы потом, тщательно вымытые ледяной ключевой водой и заправленные всякой всячиной, кипеть в огромном котле, распространяя вокруг запахи пастушьей каурмы. А Хвтисо, наскоро смыв с рук невинную теплую кровь, уходил пешком, несмотря на настойчивые уговоры жертвователей, уходил, так и не отведав податливого даже для беззубого рта сочного бараньего мяса, уходил смутный, раздавленный своим вероломством, проклиная дьявольское свое умение. Отойдя на довольно большое расстояние от места заклания овна, Хвтисо уходил с дороги в сторону, в кустарник, а потом в редкую рощицу, поближе к обрыву, останавливался на самом его краю и, согнувшись в три погибели, блевал. Дрожь, сотрясавшая по дороге сюда, его руку, пронизывала теперь все тело, заставляя его корчиться, выворачиваться наизнанку, изгонять наружу всю горечь, желчь и отраву нескладной жизни, наградившей его дурной совестливостью к животным и людям. Облегченный, просветленный, выхощенный, он возвращался на дорогу и шел знойной, сухой, пыльной стезей вниз и вниз мимо кустарника, леса, обмелевшей нитки реки, домов. Редкие машины обволакивали его клубами пыли, гари, рокота, а он все шел и все думал и думал о непомерной власти, данной человеку надо всем живым в мире. Время от времени он посматривал на свою жилистую руку с мощными, выпирающими сквозь мохнатую кожу суставами, посматривал не осуждающе, нет, а больше с изумлением, что она все еще не отсохла, не отнялась, не скрючилась...

ПЕТУХ

Впервые Кикала пустил петуха на свадьбе сына Гайозы Читишвили — Мамуки. А ведь как Гайоза просил Кикалу не запаздывать — только въедут-де в ворота машины с городскими гостями, подружками невесты и дружками сына, надо грянуть «Мравалжамиер», да так, чтобы небесам стало жарко. Коте, Леван, Иосеба, Како и Ясон были приданы Кикале в помощь. И «Мравалжамиер» получилась такой, что любо-дорого, недаром гости, напрочь позабыв о молодых, не сводили восторженных глаз с жилистой бурой шеи Кикалы с треугольным кадыком и с его запрокинувшейся головы порочного козла. Божественные звуки рождались в грубом горле мартвисского соловья — ночного сторожа Кикалы — ерника и сквернослова. Почему богу пришла в голову такая едкая мысль — вложить сокровенный свой глас в поганую гортань крикуна, — никто понять не мог, но факт оставался фактом: ни у кого во всей благословенной Грузии не было такого первого голоса, как у Кикалы. Неспроста ведь Кикала не сходил с экрана телевизора. Благо горы вокруг Мартвиси не давали покоя бурным телевизионным волнам и штиля на экране никогда не бывало. Посему похабная рожа Кикалы плыла-уплывала вдаль, а неземной голос лился на умиротворенных мартвисцев, как ключевая вода в знойный полдень. Но то, что удавалось сделать телевизору, мартвисцам никак не удавалось — попробуй отдели голос от его владельца. Правда, иные — в особенности в этом усердствовали молодые — предлагали записать весь Кикалий репертуар на магнитофон и, не приглашая самого Кикалы, проигрывать его во время свадьбы. Но свадьба не панихида (увы, и до Мартвиси докатилась уже городская мода включать на панихидах магнитофон с записанными на пленку траурными мелодиями и песнопениями, нет, чтобы, как раньше бывало, зурначей позвать — да и где теперь возьмешь этих самых зурначей, перевелись вчистую, их даже по телевизору и то не услышишь), ну что за свадьба без одобренного добрым кахетинским вином живого человеческого голоса. Вот и получалось, что Кикала был самым первым и желанным гостем на каждой свадьбе, а что ему взбрет в голову выкинуть в перерывах между песнями — никто заранее предсказать был не в силах. Мартвисцы, те давно уже смирились с выходками Кикалы, но чем дальше, тем больше городских гостей гуляет нынче на мартвисских свадьбах (городские невестки, как и магнитофоны, тоже вошли в моду. Правда, невесток этих разве что на свадьбах только и увидишь, уведут в город самых что ни на есть пригожих да разумных молодых мартвисцев, а потом и сами в деревню носа не кажут, и мужьям не велят, даже летом их теперь не заманишь, чтобы деток хотя бы родным деревенским воздухом надышаться привезли, все по заграничным курортам разезжают, да и есть ли у них эти самые детки, бог весть, ежели и родят, так одного от силы...), не каждому ведь придется по вкусу пьяный ку-

раж мартвисского соловья, такой переполох выйти может, не до веселья, всю чачу, поди, на примочки переведешь.

Но все сходило с рук береженному голосом Кикале — не только мартвисцы, и городские понимают толк в дедовских песнях, не все ведь под шакалий вой дергаться. Вот и выходило, что нет сладу с Кикалой никакого, терпи хошь не хошь, как ни кинь, никак без него не обойдешься. Иной полгода в гипсе лежит, коли, не дай бог, не то слово ненароком при людях с языка сорвется, а Кикала ходит себе големом, ни разу не битый, не калеченный, и как его тронешь — вдруг повредишь что, и поминай тогда как звали первый его голос...

Так вот, пустил вдруг Кикала петуха на свадьбе Мамуки — Гайозова первенца. Мартвисцы аж почернели со стыда и досады. А ведь какую песню испортил, окаянный, «Гапринди шаво мерхало» — всем песням песня. Гости, те вроде ничего не заметили — может, подумали, что так и надо в этом месте, но заметили или нет, от этого, сами понимаете, ничуть не легче. Кикала, видать, перетрухнул не на шутку, улыбнулся криво эдак, а губы под усами с рыжинкой побелели. Все ему знаки делают не пой-де больше, а он большую чашу вина в себя опрокинул, голос, видать, задобрить да подмазать решил. И сошло бы, может, все хорошо, не произнеси тут тамада — директор восьмилетки Григол — тост за опору и силу деревни нашей — дедовские обычаи и людей, которые хранят да блюдут их свято. Встал тут Кикала, стоит подбоченясь — поглядите, дескать, вот он я — эта самая опора и сила, перед гостями красуются, будто не он давеча петуха пустил. Ну, встал и стой себе — тост о другом, а если ты его на свой счет принял, тем хуже, людей достойных и степенных в деревне хватает, но никому даже в голову не придет за себя пить, когда тост такой говорят. Городские в ладоши захлопали, видно, тост им по душе пришелся: сами-то обычаи позабыли, так хоть тех, кто помнит, подбодрить да поддержать, видать, решили. Захлопали они, а Кикала раскланивается направо и налево — так его, верно, в телевизоре научили, — благодарствую, дескать, словно и впрямь за него заздравную произнесли. И это бы ничего, и это бы простили ему мартвисцы, не привыкать ведь, и не такого от Кикалы натерпелись. Но вот выпил Кикала благодарственную чашу, молодецки вытер усы и как запоем «Даигвианес». Вижу, похолодели мартвисцы, напряглись, лица на них нет, каждый в душе только и твердит — пронеси господи, не позорь ты нас перед гостями залетными. И пронесло бы, ей-богу пронесло, кабы не вздумал осмелевший от вина соловей наш коленце выкинуть — голос свой во всей красе да силе выказать. Запустил он его в небеса, а ведь оттуда еще и слезть, опуститься на землю грешную надобно. Вот и вылетел тут петух, да такой, что во всем Мартвисе не сыскать (петухи у нас знатные, что ни подворье — то генерал, утро, ей-богу, только оттого и наступает, что они все друг друга перекричать норовят). Вылетел, значит, петух, да такой, что даже слепому видать и глухому слышать. Гости наши рты от изумления пораззевали, а мартвисцы все как один в пол

установились, дыру, видать, ищут, чтобы туда от стыда великого провалиться. Осекся тут Кикала, лицом посинел, рта закрыть не может, стоит и стоит столбом, потолок, норовящий обрушиться, подпирает. А потом как повернется вокруг себя и ка-ак рванет к двери, чуть столы все по пути не попереворачивал, благо близко он к двери той благословенной сидел. Вылетел в дверь, что твой заяц, только сапоги мелькают. Хоть дурак дураком, а смекнул, что потерял он свою охранную грамоту и только ноги при нем и остались. Ка-ак тут заржут гости, как застолуют, слезы из глаз, за животики держатся, как бы грыжа невзначай не приключилась от хохоту. Вижу, лицам мартвисцев цвет человеческий возвращается, а то сидели, как мертвецы на собственных похоронах, встряхнулись, ожили, но в глазах печаль, описать — слов не сыщешь...

А телевизоры с тех пор отменно работают — ни хмаи тебе, ни волны. Говорят, новую ретрансляционную вышку на ближней горе поставили.

ЧИКОРА

Трактор Чикоры носился по главной улице и проселкам Мартвиса, как карающая десница или колесница Армагеддона, а точнее, и то, и другое вместе. Сначала мартвисцы добродушно посмеивались, потом сердились, а в конце концов стали бояться Чикоры и его стреляющего трактора с деревянной тележкой пуще огня и наводнения. Еще бы, гнев Чикоры был подобен нежданному-негаданному разгулу стихии. Деревенский дурачок, смех и грех деревни, ее забава и беда, вдруг превратился в санитарную инспекцию, да еще какую инспекцию. Нет инспектора, с которым нельзя поладить, которого нельзя улестить и превратить в человека, если не словом, так стаканом вина, если не окриком, так увещеванием, если не мытьем, так катаньем. А Чикора слов, впрочем, как и вина, внутрь не принимал, на окрики и увещевания не поддавался, а укатать мог любого до потери сознания. Кто, какой злоумышленник, какой враг деревни натравил, науськал на нее и ее жителей полоумного Чикору, кто задумал свести мартвисцев со свету, довести до жизни такой?

Как было раньше? Чикора целыми днями ошивался на «бирже», где три длинные, грубо сколоченные лавки расположились так, что всех идущих и едущих в Мартвиса и из Мартвиса было видать, как на ладони. Человек уважительный, если нет у него камня за пазухой, мимо не пройдет, непременно присядет перед дорогой, словечком-другим перекинется с народом, излишек ума оставит, нехватку доберет. Но в дневное время в будни сиживали здесь лишь старики, увечные да слабые на голову, — было таких в деревне трое, считая Чикору, хотя какой Чикора слабоумный, себе на уме он, вот кто, а никакой не слабоумный. Сидел

себе посиживал на лавочке, да все, видать, что слышал, на ус мотал, на зубок пробовал, что сгодится — в голову свою лобастую, плешивую влихивал (и в зиму, и в лето ходил он с непокрытой головой, с того, она, видать, у него и полплевела, и каленой сделалась, хоть кол теши: чего не хочет, ни за что внутрь не впустит), а что не по нему — мимо ушей, трубочкой сплюснутых, пропускал. Что он себе оставлял, а что пропускал, поди доведайся. Но раз, спозаранку, появился вдруг Чикора на главной улице с огромной тачкой об одном колесе, из досок сбитой и обрезками фанеры выложенной. Широленная лопата, какой обычно снег отгребают, в тачке той погромыхивала. Прошел Чикора с тачкой и лопатой всю улицу из конца в конец и остановился у первого дома с краю, поставил тачку боком, схватил лопату и давай мусор сгребать. А надо сказать, что мусору за домами Мартвисы было великое множество, горы не горы, а холмы, безусловно. И не с того это, что мартвисцы народ ленивый да нечистоплотный, просто все не с руки им было мусор вывозить на край света — свалку устроили далеко за деревней у крутой ложбины, в старом русле, в незапамятные времена оставленном рекой Тевали. Кому пришло в голову под свалку ложбину ту приспособить, теперь уже не дознаться — ведь на машине к ней не добраться, да и машин мусорных в деревне не водилось. А тачкой немного натаскаешь — мусору в деревне пропасть, откуда он только берется. Вот и приспособили мартвисцы под это дело местечки за дворами, ямы вырыли, но человек не бульдозер — ямы быстро заполнились, и мусор в холмы изгорбился, дальше — выше, нет от него спасу: всякая нечисть завелась, мухи тучами. Привыкли, стерпелись мартвисцы — деваться некуда, дел у крестьянина во всякое время дня и ночи, в любое время года и без того невпворот.

И вот взялся за холмы те Чикора, да как взялся. Начал, как сказано, с самого края. Целый день на первый дом ухлопал. Навалил тачку до самого верху и чуть ли не бегом на свалку, а было до нее, чтобы не соврать, версты три, не меньше. Сколько раз Чикора туда и обратно мотался — кто считал, со счету сбился, в глазах зарябило. А был Чикора, надо сказать, малый здоровый, косяя сажень в плечах, хоть и невеликого роста, загривок что наковальня, руки лопате его под стать — одним словом, силен. Но будь он даже двужилым, хотя таковым он, по всему видать, и был, не сдюжить, несдобровать ему, коли так бегать станет с тачкой, словно свинцом набитой. «Ненадолго его хватит, — усмехались мартвисцы. — Побегает дня три — отстанет». А Антона Талиашвили, это его дом первый с краю, когда домой возвратился с поля, так и ахнул, не признал родного подворья — ровно все, хоть мяч гоняй, а Чикора еще с граблями возится, землю ровняет, отойдет в сторонку, поглядит исподлобья, то там, то тут подровняет и снова отойдет. Антона к Чикоре, ты чего, дескать, тут вытворяешь, а тот глянул на него исподлобья, как на землю давеча, и струхнул Антона, как бы и его он граблями не подровнял. Стал Чикору к столу звать, повечеряем, дескать, вместе, а Чикора руки отряхнул, сунул лопату в пустую тачку и затопал с ней со двора в сапожищах

своих — скороходах кирзовых. У ворот оглянулся, посмотрел напоследок на свою работу, хмыкнул, погрозил пальцем то ли Антоне, то ли еще кому да и был таков. Постоял Антона посреди двора, постоял, потом махнул рукой в сердцах и пошел домой хмурый, до ужина не дотронулся, все думал про что-то свое...

Надолго хватило Чикору, ошиблись тут мартвисцы. День за днем делал он свое дело, дом за домом обходил, двор за двором ровнял, тачку за тачкой на свалку бегом возил, ни к кому в дом не заходил, от еды отказывался, денег не брал. Кончит дело и пальцем грозит то ли хозяину, то ли кому еще. Сначала посмеивались мартвисцы над странностью да прытью такой, потом хмуриться стали, а потом и сердчать. За живое, видать, задел их Чикора, то ли позорит, то ли совестит, и нет с ним сладу. Отговаривали его порознь и всей деревней, увещевали, грозились даже, а он смотрит исподлюбья да мимо ушей своих пропускает и увещевания, и угрозы. Да еще обойдет спозаранок все разровненные давеча подворья и смотрит, как они там. Что тут поделаешь? Хочешь не хочешь, а пришлось мартвисцам каждую неделю накопившийся мусор на свалку вывозить, ведь не станешь же после Чикоры новые горы гордить. Так и бегали мартвисцы по воскресеньям ни свет ни заря к мусорной ложбине, бегут и клянут Чикору на чем свет стоит, не было, дескать, печали, да вот черт полоумный Чикора, да пропади он пропадом, наворотил забот полон рот. Коли обычный мусор, куда ни шло, от него руки-ноги, положим, не отвалятся, но вот когда то ли хлев, то ли сарай сладишь, а то и дом подновишь или переиначишь — побегашь тут с тачкой, как же, в пору все другие дела бросить... А Чикора тот не понимает — от подмоги отмахивается и к своему делу за версту никого не подпускает: все холмы и горы вчистую срыл, на свалку вывез, а дворов в Мартвиси двести с гаком, вот и считайте, сколько дней ему на это перевести пришлось. Но мусору в деревне не убывает, а как назло все больше и больше. Надоело мартвисцам носиться к свалке — возит, окаянный, не перевозит, — вот и махнули рукой на мусор, да и на Чикору в придачу. И снова стали холмиться да захламляться подворья. Зверем смотрел на всех Чикора, места себе не находил, все пальцем грозился, и бегали, прятались от него мартвисцы, уж лучше бы плеткой огрел, что ли, чем молча исподлюбья взглядом лютым жечь.

А зимой снегу навалило по крыши, гребя его, отгребай — все без толку. Пропал Чикора, носа нигде не кажет, только дым из трубы снособоченной на кровле черепичной — ни снежинки на ней, словно снег ее за версту обходит, — вьется, закручивается, жив, значит, и чем только жив? А зайти к нему никто не решается: зашибет, чего доброго, не ровен час. Так и перезимовал, как медведь в берлоге.

Но весной, когда стаял снег и по деревне ни пройти ни проехать стало, загрохотало вдруг по улочкам нечто диковинное на двух высоких колесах — трактор не трактор, повозка не повозка, примус не примус — с деревянной тележкой об одном колесе впереди, а на козлах Чикора

сидит, ухмыляется. Рассказывали потом, что всю зиму он в сарае просидел, из свалки, что возле машинного двора, повыуживал впрок железок разных и сладил свою машинку адскую. Кашляет, стреляет, хлопают, а ездит, да еще как ездит. И снова растаяли холмы мусорные по деревне, как прошлогодний снег, благо тележка не тачка, все не на горбу таскать, и к свалке вплотную подъезжает. И вновь не стало житья мартвисцам — подъедет к дому и стоит возле ворот, а трактор под ним ходит, чадит, дергается. Как ни крепись, а ворота отворять все едино придется. Въедет трактор, проедет в конец двора и снова стоит себе, подергивается. А Чикора сидит на козлах и ждет и слезать не думает. Волей-неволей хозяину за лопату браться приходится, да накладывать мусор в тележку: только навалит тележку с верхом, до краев, фыркнет трактор, выхлопнет солярку вонючую из трубы с козырьком и айда подпрыгивать к свалке. Всех измордовал, ни сна от него, ни покою, неминуч, как судный день. Вот так и носится по проселкам Мартвиси чертов Чикора на своей чихалке, носится, как карающая десница или колесница Армагеддона, а точнее, и то, и другое вместе. Даже мухам мартвисским от него житья не стало, напрочь повывелись. Вот и посматривают теперь мартвисцы на двух других дурачков со страхом великим, а что, ежели и у них ум за разум зайдет да заклинится, заварят кашу — лопатами потом не расхлебаешь...

СОДЕРЖАНИЕ

Недобиток. <i>Повесть</i>	3
<i>Из «Мартвисских рассказов»</i>	
Хвтисо	40
Петух	42
Чикора	44

Ушанги РИЖИНАШВИЛИ

НЕДОБИТОК

Повесть и рассказы

Редактор Д. К. Иванов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 15.09.87. Подписано к печати 12.11.87. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Учетно-изд. л. 3,30. Усл. кр.-отг. 2,28. Тираж 80000. Изд. № 2970. Зак. № 1314.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

ПРИГЛАШАЕТ «СПОРТПРОГНОЗ»

● Эта новая спортивная лотерея предлагает любителям спорта проверить свои знания и испытать свою удачу в ее тиражах.

● Выигрывает тот, кто сможет угадать исход встреч не менее 11 из 13 пар команд, участниц данного тиража (тура) чемпионата страны по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу или по другим игровым видам спорта.

● Билеты лотереи «Спортпрогноз» продаются в киосках и пунктах «Спортлото». Стоимость бланка билета 2 копейки. Билет содержит шесть вариантов заполнения, два из которых нужно заполнить обязательно. При сдаче заполненного билета в киоск или пункт «Спортлото» играющий обязан оплатить количество заполненных вариантов. Стоимость одного варианта — 30 копеек.

● Максимальный выигрыш в лотерее — 10 000 рублей.

● В выигрышный фонд каждого тиража поступает 50 процентов стоимости оплаченных вариантов по билетам, поступившим для участия в этом тираже.

● Доходы лотереи направляются на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, на организацию физкультурно-массовых мероприятий.

**Главное управление спортивных лотерей
Госкомспорта СССР**